

ИВАН УХАНОВ

ПОЦЕЛУИ НА ВЕТРУ



Иван Уханов

Поцелуи на ветру. Повести

«Издательские решения»

Уханов И. С.

Поцелуи на ветру. Повести / И. С. Уханов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-839090-6

Герои книги И. Уханова — лауреата Международной литературной премии им. А. Платонова и премии С. Есенина — действуют зачастую в экстремальных ситуациях. Но это не изрядно поднадоевшие читателю экстремы криминального и сексуального толка. По мнению литературоведа Э. Софроновой, «от большинства Ивана Уханова отличает редчайшая, можно сказать, гениальная способность потрясать читателя до слёз. Я имею в виду слёзы людей, воспитанных классикой, произведениями Пушкина и Толстого, Бунина и Шолохова...»

ISBN 978-5-44-839090-6

© Уханов И. С.
© Издательские решения

Содержание

Берендейка	6
Конец ознакомительного фрагмента.	44

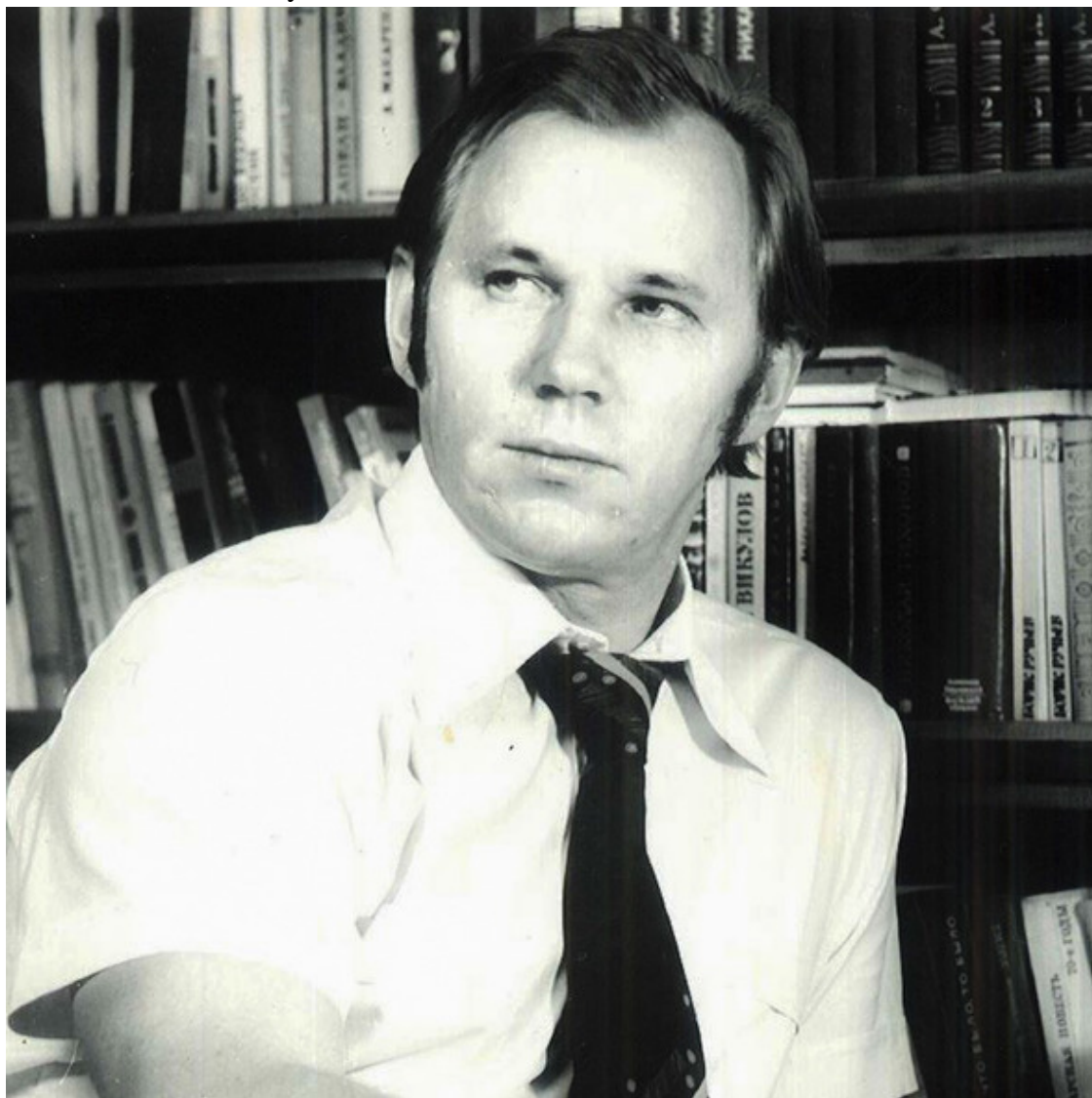
Поцелуи на ветру Повести

Иван Сергеевич Уханов

© Иван Сергеевич Уханов, 2017

ISBN 978-5-4483-9090-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



Берендейка

*Любовь у нас цвела июньским цветом,
И не спеша шло лето по траве...*

Только дорожных строителей не удивляет тот странный факт, что новое шоссе, если по нему не ездить, изнашивается, портится раньше того, которое постоянно находится в деле, под ежечасным давлением сотен и тысяч бегущих по нему, мнущих, бьющих, толкающих, дробящих, колотящих, словно бы жестко массирующих его тяжелых и легких колес. Дорога работает, живет, кого-то радует, кого-то огорчает, стирается, крошится, но живет: в летнюю пору податливо мягкая, теплая, будто пластилиновая, вытопками черной вязкой смолки смазывающая свои же морщины, ссадины, шербинки; в мороз – чугунно-твердая, гулкая, монолитная; в осенне-весеннее ненастье – сырая, особо ранимая. Но живет!

И преждевременно хиреет, умирает, если вдруг остается без неустанно беспокоящих, травмирующих ее колес. Дорожники знают: стоит даже ненадолго, на год-другой закрыть какой-то участок шоссе, как оно, словно оказавшись не у дел, сразу же начинает терять свой накатанный, натертый миллионами резиновых шин живой гончий блеск, жухнет, коробится, крошится; асфальтовую его толстую кожу там и тут протыкают снизу, изнутри кустистые побеги повители, подорожника и полыни – мягкие на ощупь, но чудовищно сильные своим упрямым жизнелюбием растеньица, рвущие, проламывающие на своем пути к воздуху и свету тяжелый асфальтобетонный панцирь. И вот уже тело дороги изуродовано точно нарывами, этими бесчисленными бугорками, из которых прут наружу, как бы вырываясь из погребенья, молодые зеленые стебельки. И разбегаются в разные стороны от этих лопающихся нарывов сетчатые трещины, открывая воде и солнцу пути для разрушительного нашествия на теперь уже как бы беззащитное, разбронированное полотно дороги.

В тот день я добирался на «газике» в отдаленное прорабство и, чтобы сократить расстояние, свернул с шоссе на узкую асфальтированную дорогу. Она вела к некогда стоявшей в степи газораспределительной установке. Полотно было уложено здесь года три назад. Когда газ в скважине иссяк, установку сняли, а дорогу к ней, сиротливо оставшуюся без работы, разрывали теперь вдоль и поперек разбойничьи заросли бурьяна и чертополоха. Потрескавшаяся, шишкастая, местами вспученная, она серыми плешинами выглядывала из этой бойкой степной растительности. Земля будто старалась скинуть с себя бетонное покрытие как ненужную, старую кожу. Прошиваемая снизу травой, размываемая дождями, бетонка гибла в юношеском, можно сказать, даже в детском своем возрасте.

Я ехал и думал о том, что в безгранично свободной холостяцкой моей жизни бывают, однако, минуты, когда чувствуешь себя дорогой, на которой нет движения. Идешь иногда вечером с работы, смотришь издали на окно своей одноместной комнаты нашей строительной общаги, и даже не хочется смотреть. Всегда одно и то же: наполовину задернутые белые занавесочки, а за ними темнота. И завтра, и послезавтра, и через неделю те же занавесочки и темнота.

Но, бывало, предчувствие радостное вдруг заторопит тебя, пообещает: вот подойдешь сейчас к дому, а в окошке уж занавесочки раздвинуты, свет горит! Кто-то там ждет... Но, увы, в окне темно... Ключ только у тебя в руке. Входишь, зажигаешь свет, и... в комнате все на прежних местах лежит и стоит. Такой нетронутый, идеальный, ужасный порядок. Как в музее. И везде пыль – тусклая, неживая, будто в книгохранилище... И не пыль даже, а что-то неосязаемое, словно осадки этой самой пустынной тишины...

И хотя жил я вроде бы здорово – работал, учился, успевал еще на стадионах, в кинотеатрах бывать, в девичье общежитие захаживал, однако все чаще чувствовал щедрую бесхозность своей личной жизни.

Трудился я техником на строительстве шоссежных дорог, вечерами учился в институте, экстерном сдал госэкзамены, оставалось защитить диплом.

Перед финишным броском – защитой диплома – захотелось мне вырваться хотя бы на недельку, на две из городской коловерты, сделать продых, уехать куда-нибудь.

Только не в деревню, к родственникам, где не дадут поработать с книгой, и не в дом отдыха, где весь твой день почасно распланируют, насытят казенным весельем.

– Махни в Бузулукский бор. Пять часов поездом – и ты в сказке: вековые сосны, березы, тишина, безлюдье! – посоветовал один знакомый. – Остановись, вот адрес, у Черниковой Анастасии Семеновны. Чистенькая бабуля, коровка у нее, огород.

Я поблагодарил его и решил ехать.

На перроне меня поджидала Людмила Сячина, студентка-второкурсница мединститута – веселое, голубоокое существо. С Люстиком, так она просила себя называть, мы встречались нечасто, в свободные от ее и моих институтских занятий вечера. Что-то у нас проклевывалось навстречу друг другу, хотя каких-либо трепетных чувств я пока не испытывал; вообразить Люсика своей будущей женой или хотя бы невестой мне не удавалось. Впрочем, озариться таким воображением мешала мне сама же Люстик. В отличие от большинства своих подруг она вовсе не жаждала замужества, хотя близки с ней мы были уже несколько месяцев. «Веселись, пока молодая да незамужняя. Только та из нас и бывает доброй женой, которая в девках вдоволь нагулялась», – в порыве откровения поделилась однажды Люстик этой, будто бы слышанной ею от родной тетки мудростью.

Мы были свободны, как ветер, и в то же время неназойливо принадлежали друг другу.

Мне нравились широко, как-то бесстрашно распахнутые, светлые глаза Люсика. И если бы она не «стреляла» ими, глаза ее, возможно, стали бы редким, несуетно-благородным украшением широкоскулого простоватого ее лица.

Несмотря на то, что не всякий день у меня водились деньги, Люстик желала, чтобы маршруты наших встреч проходили через кафе, бары, танцплощадки. Любила она посидеть в людном месте с красивым фужером вина в одной руке и сигаретой в другой.

...Обвив мою шею длинными руками, Люстик томно глядела мне в лицо и, приподнимаясь на цыпочки, целовала меня в губы, в подбородок, в щеки.

Поцелуи были вялые, с ленцой, и я тихонько вертел головой, словно норовя кого-то разыскать в пестрой толпе людей, чьи-то глаза, чье-то лицо, услышать чьи-то слова – смутное беспокойство каждый раз завладевает мною уже при одном виде всякого вокзала с его сложными запахами и звуками, с особым воздухом, насыщенным тревожными отголосками беспрерывно творящихся встреч и расставаний...

Дали сигналы отправления. Я обрадованно сграбастал Люсика и, словно перечеркивая все ее усталые поцелуи, жестко впился ртом в ее губы.

Поезд тронулся. Вскочив на подножку, я оглянулся на Люсика. Она плакала. Но не так, как плачут на вокзалах. В ее глазах застыло выражение сытого котенка, у которого отняли, вырвали из лапок лакомство, каким он только что тешил, забавлял себя.

На полустанок Сосновку поезд прибыл в четвертом часу. Плавно притормозил, задержался всего на минутку, чтобы словно за какую-то провинность вытряхнуть из своего сонного чрева единственного пассажира-бедолагу, вздумавшего сойти в такой неурочный час...

У позевывающего железнодорожника я спросил, где живут Черниковы, и по щебеночному перрону хрустко зашагал в ближайший переулочек. Потемневшие дома-срубы стояли вперемежку с высоченными строевыми соснами; дальше, впереди, за последними домами они толпились непроглядно густо, сливаясь верхушками в сплошную темно-зеленую, почти черную зубчатую стену могучего бора. Оттуда тянуло запахом хвои, пронзительной свежестью

заревого леса. Среди старых домов кое-где выступали невысокие, манящие сливочной желтизной свежевоструганных досок заборы и резные крылечки, маленькие, похожие на сказочные избушки-терема темно-коричневые баньки в дальних углах придворий – все деревянное, грубо древнее, простое, замечательное!

С проулка я свернул на широкую улицу, идущую от центра к окраине поселка. Впереди меня на песчаную дорогу нехотя вышли дородные рыжие коровы и, сотрясая тишину сердитым, каким-то беспричинно-тревожным мычанием, направились в конец улицы, в сторону леса, где, видимо, собиралось стадо.

Третий дом от края, как мне и было сказано, помечался двумя белыми деревянными конями на створках тесовых некрашенных ворот. Я подошел к ним и остановился, заслышав, как за ними, где-то в глубине двора, глухо дзинькали о подойник струйки молока. Это, наверное, Анастасия Семеновна доила корову. Я поставил чемоданчик на траву и сел рядом на узкую, отшлифованную до стеклянного блеска скамейку. От широких досок забора, от взобравшейся до чердачного окна поленницы, от охристого ворошка опилок на обочине дороги веяло спиртовым запахом древесины. К нему примешивался такой же, по-утреннему тонкий аромат перевесившихся через забор росистых бутонов сирени. Эти запахи влияли на меня подобно какой-то неслыханной радостной музыке. «Да, да! – тихонько трепетало все мое тело. – Вот то самое место, где я поработаю и отдохну».

– Ну, ступай... но, но, милая. Дай бог час добрый, – послышался за воротами глуховатый, чуть шепелявый женский голос.

Калитка отворилась, и на волю грузно вышла, задев боком дверной косяк, черная, в белых звездах крупная корова. Она нехотя сделала несколько шагов и, оглянувшись на ворота, трубно замычала, словно прощаясь с хозяйкой и объявляя себя всей улице.

– Па-ашла! – строго-ласково прикрикнула на корову вышедшая из калитки пожилая женщина с подойником в одной руке и с полотенцем в другой.

Увидев меня, не удивилась, будто я и должен был в столь ранний час сидеть здесь, на скамейке.

– Это не Андрей ли Васильевич?.. – приветливо сказала она.

– Он самый. – Я встал со скамейки и слегка поклонился.

– Меня еще вчера телеграммой из города оповестили о вашем приезде. – Женщина с улыбочивым прищуром цепко оглядела меня, словно норовя с первой же встречи оценить, что я за человек есть.

– Вот, значит, здравствуйте... будем знакомы... Ну и как?.. Найдется свободный уголок? – смущенно заговорил я, глядя на заветренное, в редких оспинках лицо хозяйки.

– Найдется. Чего ж... Вон какой домяка! Где облوبة, там и отдохайте.

Анастасия Семеновна провела меня в дом. Не прошло и получаса, а мы уже познакомились самым, казалось, исчерпывающим образом: рассказывать о своей, в основном уже прожитой жизни ей было вроде бы и нечего – всегда, пожалуй, стоял здесь этот рубленый дом, всегда во дворе дремал, как и сейчас, старый колодезный журавель, и десять и двадцать лет назад так же цвела под окнами сирень. Еще недавно, сколько-то годов назад, Анастасии Семеновне в домашних делах помогали муж Егор, шофер местного лесничества, две дочери – Наталья и Светлана. Муж скончался, старшая дочь вышла замуж и переехала в районный городок, а младшая, Светочка (вместо буквы «с» Анастасия Семеновна из-за нехватки передних зубов произносила букву «ц»), в эти часы находилась в Оренбурге, поехала купить кое-что из нарядов.

Я пожелал жить не в самом пятистенке, а в глубине двора – в маленьком однооконном домишке.

– Пожалуйста, где хотите... Только я там приберу. Цветочка в нем ночует, пока отдыхающих нет.

Мы вошли в домик, и Анастасия Семеновна начала сдергивать со спинки стула кое-какие вещицы девичьего туалета, понову застлала кровать, взбила кулаками по-сельски большую подушку.

– К нам одни и те же приезжают. Одна семья из Оренбурга, другая – из Москвы.

– Даже из Москвы?! Но в Подмоскovie такие же сосново-березовые леса.

– Такие, да не такие. Сырости в них много. А наш бор, гляньте-ка, звонкий да ядреный! А воздух?! Прошное лето москвичи мальчонку с собой привозили. Хиленький, бледный, ангина и кашель, слышь, совсем доконали. А вот на свежем молочке да при таком воздухе он за лето так поправился, что никакая хворь, писали, целый год к нему не приставала.

Протерев влажной тряпкой подоконник, столик у окна, Анастасия Семеновна, уходя, уже с порога сказала:

– Днем будет жарко, – ставни прикройте. Можно в Боровке выкупаться. Речушка вон за околицей махонька, но как слезинка, по желтому чистому песочку течет, вся насквозь видна. Чуть повыше колен глубина, но поплескаться можно... А плавать захотите, так до Мишулинского озера недалеко. Километра три. Вот приедет Цветочка, она вас проводит, покажет... А сами заблудитесь. Лес-то наш не только обойти, его объехать сколь времени надо.

Анастасия Семеновна ушла, я разделся и поверх одеяла прилег на кровать. Стены домика, пол дышали сухой древесиной, над дверным косяком торчала высушенная ветка с красной гроздью рябины, на ней сидела какая-то очень нарядная птичка-чучело. Форточка и дверной проем были занавешены марлей – от комарья. Нескольким комарам, однако, удалось проникнуть. Невидимые, они где-то тонко, просительно ныли. Крупный, длинноногий комар сел мне на грудь и своим хоботком-шильцем стал опробовать, где удобнее впиться в тело. Я с удовольствием рассматривал кровососа, дал ему насытиться вдоволь. Комар не знал меры и, пожалуй, умер бы на моей груди, если бы я не ткнул его пальцем. Переполненный кровью, он едва взлетел и сразу же, почти отвесно спикировал вниз, на пол.

Я вспомнил, что в чемоданчике среди кое-каких городских припасов есть шоколад и хорошая колбаса. Встал, оделся и пошел к Анастасии Семеновне вручить гостинец. Хозяйка сидела на стуле в прихожей и крутила ручку сепаратора. Увидев меня, предложила свежих сливок, подставила под белую струйку стакан.

– Звездочка наша восемнадцать литров дает. А куда столь молока?.. На масло сгоняю. В райпо ношу, будущему зятю талон на «Жигули» выхлопываю. Как триста кило сдам, так и талон вручат – иди, покупай машину.

Шоколад Анастасия Семеновна не взяла, а колбасу приняла. Ответно вымахнула передо мной на стол мед, сметану, масло, творог, сырые яйца... Я выпил стакан сливок и, выйдя на крыльцо, сощурился от лучей солнца, уже желтого, по-дневному слепящего. Всюду еще жила тишина деревенского красного утра, лишь в кустах сирени верещали какие-то пичуги да на задворье глухо вскрикивал петух... Радовали глаз молодая, блестящая, июньская трава во дворе, зеленые всходы редиски, огурцов, лука на огородных грядках, густо-синее, кроткое небо, высоко подпертое там и тут округлыми верхушками гладкоствольных мачтовых сосен. Идти в затененный домик и навёрстывать не доспанные часы мне расхотелось. Я вышел за ворота и вдоль стоящих поодаль друг от друга домов зашагал по песчаной тропинке мимо пасущихся на лужайке молоденьких телят.

Поселок я обошел за полчаса, ознакомившись со всеми его скромными достопримечательностями. И маленький, на полсотню рабочих, цех – филиал районной мебельной фабрики, и прилипшие к нему такие же приземистые кирпичные строения, помеченные вывесками «Столовая», «Сельмаг», «Пекарня», и вытянутое вдоль голубовато блестящих рельсов стандартное, выкрашенное в стандартный коричневый цвет зданье полустанка с крохотным залом ожидания и буфетом на четыре стола, и продолговатый, похожий на казарму рубленый дом школы – все небольшое, давнее, раз и навсегда построенное не на вырост, а в меру текущей

и вместе с тем как бы навсегда устоявшейся здесь жизни. Лишь поезда, тяжело, с железным грохотом пронесившиеся мимо станции, сотрясали землю и дремотно зависшую над поселком тишину. Некоторые останавливались на две-три минуты и будто спешили удалиться, увезти поскорее от этого незамордованного пока еще уголка природы глазающих из окон пассажиров. Бедное меню в столовке и скудный ассортимент товаров в магазине лишь тронули меня свидетельством простоты и скромности жителей Сосновки. Много ли им нужно, думалось, если у каждого есть все свое – и молоко, и масло, и овощи, и мясо? Они довольствовались, имея в магазинчике лишь хлеб, соль, сахар, мыло, спички – товары первой необходимости; они, видимо, постигли простую истину – как бы богато не заваливались прилавки, людям все равно чего-то всегда будет не хватать.

– Хорош поселок. Все тут под рукой, – поделился я первыми впечатлениями с Анастасией Семеновной, вернувшись в дом.

– А что «все-то»? В магазине, сами видели, кот наплакал. За каждой тряпкой в Оренбург за двести верст катаемся. Цветочка-то вот уехала вчера в город. Платьице модное, туфельки авось сумеет приглядеть. Хоть в лесу живем, а девке принарядиться охота... Да и замуж собралась... Правда, жених-то еще далеко, служит. А как демобилизуется, так и свадьбу стряпай.

– Она, Светочка, что ж... учится иль работает? – поинтересовался я.

– Школу кончила в прошлом году, надо бы куда-то дальше... Учительница сказывала: большие способности у Цветочки, особо в математике. Цветочка ухватила за совет, в институт нацелилась, да по конкурсу не прошла. Теперь в пекарне работает... Про учебу уж не заикается. Ей бы сейчас только разгон в жизни брать, – умна, добра, приглядна, а она как курица на насест спешит.

– Знать, хорош парень, – заметил я, чувствуя, однако, что будущий зять чем-то не приглянулся будущей теще.

– С пеленок его знаю, – вяло качнула прямыми плечами Анастасия Семеновна. – Вон они, Пилюгины, через три двора живут. Смирный паренек, симпатичный для тутошних мест. Парней, женихов-то здесь раз, два – и обчелся. Не до выбора. Подрастают и фьют – упорхнули, кто в армию, кто в город... Я о чем? Зеленые они, Коля с Цветочкой – без специальности, без образования. Я по себе знаю, как плохо жизнь начинать с голыми-то руками... А уж какая смышленная в учении я была-а! И-их! На лету все схватывала. Но маманя по темноте своей меня к большой грамотности так и не допустила. Считать, писать, говорит, выучилась – и шабаш. В семье дел много, нечего на баловство время транжирить. А семья наша была большая, да без головы – деда кулаки убили... Всего-то один годок в школу я походила. Книжки любила, но мамка запрещала читать, кроме букваря. – Анастасия Семеновна доверительно-хитренько улыбнулась, обнажив щербинку в верхнем ряду зубов. – Он у меня был, газетой обернут. Глядит мамка: читаю обернутую книжку, и спокойна, – дочка делом занята. Тогда я стала газетой все интересные книжки обертывать. И читать. Потом маманя букварь под подушкой нашла в тот час, когда я на крылечке другую книжку читала. Хворостиной меня по заду секанула. Столько делов по дому, кричит, а она ишь, барыня, расселась, рассчиталась!.. И в кино не пускала. На всем сэкономила мамка, в бане лишь один раз голову намыливала. Только после войны, вот уж незадолго перед своей смертью стала по два раза намыливать... Копейку берегла, все норовила нас, детей, обусть, одеть, в люди вывести. И царствие небесное ей, покойнице, за все старания. Жалко, однако, – не понимала она, какой дорогой в люди-то выходят, что у безграмотного все дороги куцые... А теперь чего ж молодым не учиться? И туда, и сюда их зовут, нарасхват приглашают...

Анастасия Семеновна всплеснула руками, спохватившись, что работу свою оставила: она носила ведром из колодца в железный бак воду – подогреется за день для вечернего полива грядок.

– Ой, извините меня, балаболку. И вас, и себя от дела отрываю, – сказала и бросилась к колодезному журавлю.

– Дайте и мне ведро... да которое побольше.

Я напросился в помощники, скинул ботинки и, подвернув штанины, стал по теплой, сырой тропочке топтать нездешне-бледными босыми ногами, изредка обжигая их ненароком льдистым холодком колодезной воды.

После обеда я часа три бродил по лесу, насобирал душистую охапку зверобоя и снопиком подвесил над окном. Навел в домике порядок: выложил на стол конспекты, справочники, папку с неоконченной дипломной работой. О ней я не забывал ни на час. В прикроватную тумбочку я решил переложить из чемоданчика фотоаппарат, бритвенный прибор, кое-какие туалетные принадлежности. Тумбочка была пуста, если не считать стопки писем, отправленных из одной и той же воинской части, и раскрытой тетради. Мои глаза невольно скользнули по строчкам, написанным тем прилежным, округло-женским почерком, каким пишут почти все девушки.

«Коленька, милый, здравствуй! Спасибо за письмо! Я так рада, что ты принял присягу, и теперь настоящий солдат! Поздравляю! Соскучился? Я тоже. И надо нам думать теперь не назад, а вперед, не о прощальном вечере, а о дне встречи, до которого, я подсчитала...»

Я торопливо закрыл дверцу тумбочки, словно застигнутый на подглядывании чужой жизни. Свои вещицы сложил опять в чемодан и сел за рабочий стол. За окном во дворе было так празднично-зелено, так радостно щебетали, верещали, чиликали скворцы и воробьи, так густо лился полуденный жар с неба, что мысли плавилась, дремали, а тело просилось на волю.

Я вышел из домика и почти до заката гулял в бору, жадно насыщаясь лесным солнцем и запахами горячей хвои.

За ужином выпил кружку парного молока, которую принесла Анастасия Семеновна, и свалился в постель, весь как бы стонущий от сладкой хмельной усталости.

В оконце заглядывало уже позднее утро. Я встал, поспешно оделся в спортивный костюм, заправил кровать, немного досадуя на себя за эту поспешность... В углу висел рукомойник, я подошел, поплескал в лицо водой и, вытираясь, посмотрел из оконца на веранду. Там метрах в шести от меня стояли лицом к лицу Анастасия Семеновна и невысокая, ладная девушка с орехового цвета заплетенными в крутую косу волосами.

– А это тебе, мам. Овчинная безрукавка. По утрам холодно. Корову доить. Вот накинешь ее на плечи – и рукам свободно, и спине тепло. Ты примерь, мам, примерь, – ласково щебетала девушка, вынимая из парусиновой сумки и прикладывая к груди Анастасии Семеновны поддевку.

– Да что мне, танцевать в ней? – смущенно отстранялась та. – Размер мой, значит, впору. И чего примерять?.. Ты лучше сапожки, ну-кось, еще разок надень. Тютелька в тютельку. А что не взять бы на размер больше? Ведь не на босу ногу зимой наденешь, а на шерстяной носок...

– На любой пойдет, мам. Гляди... – Девушка ловко всунула в черный хромовый сапожок загорелую ногу, застегнула на нем «молнию» и завертела носком сапожка. – Будто по заказу.

Анастасия Семеновна с придирчивой улыбкой оглядывала, ощупывала, видно, очень дорогие сапожки, смиряясь с тем, что говорила дочь, одобряя покупку:

– А главное – вовремя купила, осенью-то их шиш найдешь в магазине. Оно верно: готовы сани летом...

– Да ведь не каждый раз их надевать буду, а для выходов, – дополняя материнскую похвалу, радостно сказала девушка, сняла с ноги сапожок и тут же выдернула из сумки какой-то белый лоскут. – Два часа в очереди стояла, мам. Гляди, какая блузочка! Льняная, с вышивкой, белорусская. Ой, надо же! И опять в самый раз для меня, как по заказу...

Девушка вмиг расстегнула на груди зеленую кофту, хотела было снять ее, но Анастасия Семеновна цапнула ее за локоть, кивнув на домик, в мою сторону. Похватав покупки, женщины заторопились в дом.

Чуть погодя я вышел из своего «скворечника» и, осторожно щелкнув щеколдой калитки, шагнул на улицу. В столовке, в центре поселка, меня ждал завтрак. «Ишь ты... понакупила, – с незлым осуждением думал я о Светочке. – Всякое, что ни наденет, все впору, все ей в самый раз... А что? На такую фигуру только косорукий мастер не сошьет, не угодит».

Когда я вернулся во двор, Анастасия Семеновна и Светочка сидели на веранде затылками ко мне и тихонько разговаривали. Я незаметно прошел в свой домик, разложил на столе бумаги, изготовляясь к работе.

– Здравствуйте, – послышался через некоторое время за спиной у меня мягкий, чуть настороженный девичий голос. – Извините, я тут вещички свои... разрешите, возьму.

Я оглянулся: на пороге стояла босоногая Светочка, в красном, открывающем загорелые руки, плечи и шею сарафане. Она робко посмотрела на меня и, шагнув к тумбочке, вынула из нее толстую тетрадь, стопку писем.

– Извините, пожалуйста, – повторила она и вышла, оставив в комнате, как мне почудилось, едва уловимый запах ромашки.

Дочь подошла к сидящей на веранде матери, и, пошушукавшись, женщины удалились в избу, чтобы разговорами не мешать мне, а может, чтобы я не мешал им.

Вечером, перед приходом стада, Анастасия Семеновна с дочерью вышли поливать огород. Высоко подоткнув подол юбки, Светочка носила двумя ведрами теплую воду из бака, а мать с большой лейкой, чуть прихрамывая, прохаживалась вдоль зеленых грядок и щедро уливала сникшие от жары кустики помидоров, редиса, огуречные плети. Омытые водой, растения тотчас взбадривались, вялые листочки разглаживались и блистали яркой зеленью. Анастасия Семеновна что-то шептала себе под нос, склоняясь над каждой лункой, легонько приохивала, поднимая лейку с водой.

Из своего жилища, душного к вечеру, я вышел к женщинам, загодя разувшись и сбросив рубаху.

– Анастасия Семеновна, я же просил вас всю тяжелую работу в доме – на мои плечи! – с веселым негодованием сказал я хозяйке и отобрал у нее поливалку.

– Это точно, – одобрила Светочка, смерив меня взглядом.

– Давай, мам, поэксплуатируем человека, если это ему нравится...

– Конечно. Вместо физзарядки. В городе рад бы грядки зеленые полить, а где их взять?

– А у нас тут... – Анастасия Семеновна развела руками, помахала как крылышками, – с утра до вечера заряжаемся.

Поливалку я вскоре передал Светочке, а сам взял ведра. Работали молча, лишь изредка, когда я проходил мимо, девушка весело вскрикивала «стойте!» и шлепала мокрой ладошкой мне по спине:

– Опять комар! Меня вот не трогают, а к вам, новенькому, липнут.

Через полчаса мы кончили с огородом и, по колено забрызганные жидким черноземом, подошли к баку, где еще оставалась теплая вода. Светочка поплескала из ковша мне на спину. Пока я вытирался рушником, она энергично обмыла холодной водой из ведра свои крепенькие, красиво загорелые ноги, оголяя их выше колен. На меня она смотрела весело и просто – вот так же моя младшая сестренка Вера по-ребячьи крутится возле меня во время редких моих гостеваний в родном далеком Шаткове, открыто заглядывает мне в глаза с желанием порадовать чем-либо, улестить...

– Эй... простите, вас как зовут? Андрей, да? – окликнула она меня, входя на крыльцо. – Водички бы в избу. Захватите, пожалуйста, вон то ведро.

– Что еще за Андрей? – буркнула прибиравшаяся на веранде Анастасия Семеновна. – Андреем Васильевичем его зовут.

– Ага. Точно, – кивнул я и, взглянув на Светочку, добавил: – Андрей... Зверев, значит.

– Очень приятно. А меня, слышали, Светлана. – Девушка вытерла о подол юбки ладошку и, шагнув навстречу, протянула ее мне. – Только фамилия эта вам ни к лицу, ни к имени. Зверев... Совсем не подходит это вам, Андрей...

– Васильевич! – резко напомнила дочери Анастасия Семеновна.

– Да знаю я, мам... Фамилия, говорю, больно грозная, а имя нежное. Андрей, Андрюша-а... Если у нас с Коленкой родится сын, мы его Андрюшей назовем. – Светлана полузакрыла глаза и, будто вслушиваясь в свой голос, протяжно выдохнула: – Андрю-у-ша.

– Одно у девки на уме, – отмахнулась Анастасия Семеновна.

Поздно вечером, управившись с огородом и подоив корову, хозяйка пригласила меня на семейный ужин. На слабо освещенной отблесками заката веранде стоял столик, на нем – сковорода с жареной картошкой, салат из лука, бутылка домашней настойки из черноплодной рябины. Анастасия Семеновна разлила ее по маленьким стаканчикам.

– Мое лекарство, – смущенно пояснила она. – От давления иногда принимаю... Андрю-то Васильевичу, конечно, чего-нибудь покрепче бы...

– Нет, нет. – Я торопливо отхлебнул из стаканчика сладкой, терпковатой жидкости и облизал губы: – Хороша!

– А вы вообще... употребляете? – разведывательно заглянула мне в глаза Анастасия Семеновна.

– Бывает, выпьешь за компанию. А вообще – некогда. Работаю и учусь.

– А кем вы работаете? – спросила Светлана.

– А на кого учитесь? – подхватила Анастасия Семеновна.

– Работаю дорожным техником-мостостроителем, а учусь на инженера. Заканчиваю. Вот даже сюда работку прихватил, диплом готовлюсь защищать. Поэтому и некогда вольничать да пировать.

– Ничего. Зато потом желанное дело будет в руках. И себе, и родителям – гордость и отрада... Ну, за ваши успехи, за отдых! – Анастасия Семеновна опрокинула в рот стаканчик.

Светлана отхлебнула глоток темно-фиолетовой настойки, подержала во рту, словно полоская зубы, и нехотя проглотила.

– Фу, ерунда какая. Никогда не буду пить, – тихо, будто сама себе поклялась она.

– Некалась девка, что замуж не пойдет... – недоверчиво буркнула Анастасия Семеновна и повернулась лицом ко мне, сомневающемуся. – Вот и Андрей Васильевич, сразу видно, под приглядом, с родителями живет: к ерунде этой, слава богу, не приучен...

– Я в общежитии обитаю, Анастасия Семеновна.

– Что так? Работаешь, учишься, без пяти минут инженер, а угла своего нет?

– Кровать, стол есть, а больше пока не надо, – оправдался я и допил слабую настойку, которую в нерешительности держал в руке.

– Э, о том и кукушка кукует, что своего гнезда нет... На птичьих правах-то... Нет, нет, хоть махонькая возможность имеется, надо свое гнездышко заводить.

– Да мне квартиру хоть завтра дадут, – заверил я Анастасию Семеновну, желая упрочить в ее глазах свой покачнувшийся авторитет.

– А чего не взять?

– Начальство так и сказало: женись – и завтра квартиру получишь.

– Так оженись. Чего ж тут? – Анастасия Семеновна недоуменно разглядывала меня.

Я молчал.

– Ради квартиры жениться? – несмело обронила Светлана, явно заступаясь за меня.

– А дело ли шляться в холостяках? – стояла на своем Анастасия Семеновна.

– Кто шляется? Человек, сказано же, учится и работает, – уже смелее поддержала меня Светлана. – Он после института, может, куда выше пойдет. У человека, может, призвание. А у вас одно на уме: дом, жена, хозяйство.

– Это у кого «у вас?» – подбоченилась Анастасия Семеновна. – Ты сперва о себе скажи. Кончила школу хорошисткой и села на мель: ни тпру, ни ну.

– У меня совсем другое. Личные причины.

– Ага. У всякой Федорки свои оговорки.

– Вот приедет Коля... Может, на пару в институт поступим.

– Да, тогда уж вы много наинститутничаете, – грустновато усмехнулась Анастасия Семеновна.

Женщины вдруг неловко замолчали, словно спохватившись, что чересчур пооткровенничали передо мною, чужим все же человеком.

– Ой, комары кусают... Я пойду. Завтра рано на работу, – первой поднялась из-за стола Светлана.

Почти весь следующий день я провел в полном одиночестве на Боровке – маленькой, в пять-шесть шагов шириной, лесной речушке. То купался, то, лежа на песке, листал свои тетрадки-конспекты, пытаюсь продвинуть хоть на сколь-нибудь незавершенную работу. Безлюдье, тишина солнечного леса должны бы, мне казалось, помочь сосредоточиться. Однако усердные попытки углубиться в бумаги тотчас возвращали меня в город, институт, во вчерашнюю мою жизнь, в непролазные заботы суетной текучки, среди которых даже предстоящая защита диплома и все мои институтские дела казались не столь уж престижной надобностью, выглядели брэнной, тяготящей канителью. Такие мысли вдруг нахлынули на меня здесь, в лесном безмолвии, у крохотной речушки, тихо струящейся, казалось, откуда-то из сказочной, почти уже незапамятной дали жизни...

Вот вспыхнул и заплясал над кустом шиповника оранжевый огонек «авроры», и я, мысленно став на миг босоногим, веснушчатым мальцом, бросился за нарядной бабочкой-медведицей, за этим летающим цветком, чтобы поймать и засушить ее распятой между страницами какой-нибудь старой книги...

Вот гулко-сиротски закуковала кукушка, будто раскатывая по лесу невидимые шарики-эхо, и я, опять уменьшившись до семи-девятилетнего деревенского мальчика, замер и с суевренной доверчивостью стал считать, ощущая сладкую тоску о своем будущем, сколько лет мне осталось жить на земле...

Каким ханжой надо было быть, чтобы закрыть глаза, заткнуть уши, отгородиться бумажками от всей этой сизмальства родной, понятной и так давно не слышанной и не виданной красоты!

5

Вернувшись из леса под вечер, я поприветствовал стоящую на веранде Светлану и подал ей букетик лесных ромашек.

– Получается? – кивнув на стопку тетрадей, которые я держал под мышкой, озабоченно спросила она.

– Нет.

– Я тоже не могла заниматься там, в лесу. Складывала книжки себе под голову, ложилась и смотрела в небо. И думала о чем-нибудь... небесном или историческом.

– И о чем же были небесно-исторические мысли?

– Больше о людях... – грустно сказала она, взглянув на меня светло-карими, цвета гречишного меда глазами. – Вот под этим вечным небом, думала я, вечно идут войны... И сейчас, – если не воюют, то готовятся. И так всегда. Послушать, только и разговору в мире: воевать или нет. Вот люди! Неужели самые маститые премьеры и политики никак не поймут то,

что ребенку ясно: зеленый лес – это хорошо, обугленные пни – плохо; цветы – хорошо, пепел от них – плохо... – Светлана хмуро улыбнулась и, нюхая ромашки, продолжала:

– А поняли бы, то все армии свели к нулю... И Коля не топал бы теперь в кирзовых сапогах где-то за тыщи километров. А стоял бы тут рядом.

– Ничего... Парню полезна армейская закалка.

– Закаляться можно и по-другому... А вы служили?

– Да.

– И вас... девушка ждала?

– Да. Но... не дождалась... Хотя на проводах со слезами пела эту самую сладенько-лирическую: «Вы – солдаты. Мы – ваши солдатки. Вы служите, мы вас подождем». С тех пор терпеть не могу этой мелодии.

– Не все же девушки такие... И песня эта душевная.

– Мне от этого не легче. – Голос мой погрубел от неприятных воспоминаний, но я постарался оттолкнуть их и заговорил с улыбкой: – Да ничего, перегорело... Не сразу, правда. Помню, однажды вечером только мы спать улеглись, выключили свет в казарме, а тут настенный репродуктор елейно-медовый мотивчик этот замурлыкал: «Вы служите, мы вас подождем»... Ну, я не сдержался, схватил подушку и запустил в угол – в радиоточку. Старшина роты мне потом два наряда вне очереди вlepил – за порчу музинвентаря.

Маленькие яркие губы Светланы расплылись в улыбке, но в тот же миг она строго заглянула мне в глаза:

– Может, вы чем обидели девушку? На письма не отвечали...

– Я был далеко от дома. Тосковал. Писал ей часто и нежно.

– Тогда она просто... Как так можно?! – с гневом изумления воскликнула Светлана и уткнулась в ромашки, словно пряча в них лицо от стыда за мою давнюю подружку юности.

Я повернулся и пошел к своему домику. На порожке оглянулся. Светлана смотрела на меня с глубоким сочувствием, будто ей хотелось сделать для меня сейчас что-то утешительное.

– Не желаете посмотреть мой цветник? – несмело сказала она.

– А где он? – Я завертел головой, оглядывая знакомый двор.

– Там, за домом, с другой стороны... – Светлана по-мальчишечьи резво перемахнула через невысокие перила веранды и повела меня по тропке в обход дома. Вскоре мы оказались перед его задними окнами, на стенах которых плавился красный закат мягкого лесного солнца. От земли к карнизу, под самую крышу, забирались по натянутым нитям-шпагатинам лопушистые вьюнцы, образуя меж окнами зелены тенистый полог. Под ними ютилась короткая скамеечка, а далее, вдоль глухого забора, пестрела небольшая цветочная клумба.

– Тут в августе красиво, – словно извиняясь, заговорила Светлана, поглаживая головки нераскрывшихся астр. – Тюльпаны уже отошли, а гладиолусы и вот астры еще не поспели. Розы тоже недели три поспят еще, а потом один за другим бутончики начнут раскрываться... О, как тут станет красиво, какие запахи!

– А почему ж вчера мы не полили цветы?

– Я всегда их поливаю сама. Одна. Это мой уголок отдыха, – пояснила Светлана. – Нет, не подумайте, что для себя одной эти цветы хожу. Сюда и папа заходил, когда был жив. Кстати, это он розы из Эссентуков еще шесть лет назад привез... И вы... пожалуйста, если нравится, приходите сюда. Цветы помогают думать о хорошем, успокаивают...

Светлана, как я понял, все еще продолжала врачевать меня от давней душевной боли. Я больше смотрел на нее, чем на цветы.

– Жаль, что сумерки... Я бы сфотографировал вас, Светлана, здесь у цветника, – неуклюже вырвалось у меня восхищение внешностью девушки.

– Еще успеете, – с улыбкой пообещала она, оглядывая себя, свой тесноватый красный, в белый горошек ситцевый сарафан. – И нельзя же в таком вот виде... Как скажете, я новое платье, туфельки надену. Получатся фотки хорошо – Коленьке вышлю. Он мне уже две карточки прислал, а я ему ни одной...

Когда мы вернулись на веранду, Светлана принесла из дома фотоальбом, медленно стала перелистывать страницы семейной хроники.

– Это папа и мама в молодости. Он танкистом воевал, раненым в госпиталь попал – в Оренбург, где мама санитаркой работала. Пока выхаживала его, сама влюбилась. Папа был ранен в легкое, хоть и подлечился, но жить ему присоветовали в сухом лесном месте. Вот они и поселились здесь, в Сосновке.

Простодушие, с каким Светлана рассказывала о своих родителях, внушало мне ощущение, будто я давно, еще до ее рассказа, знал этих людей, жил с ними в одной семье.

– А это Наташа, старшая сестра, со своим мужем Павлом Васильевичем. – Девушка перестала листать, дала наглядеться на угрюмого, с въедливым взглядом жестких, маленьких глаз лысоватого мужчину рядом с крупнотелой, лицом похожей на Светлану увядающей блондинкой. – Ему уже сорок пять, на двенадцать лет старше. А не ценит этого, ставит сестре в упрек даже ее молодость. Странно, правда?.. Вот заезжала я недавно к ним, сходили в кафе, немножко там станцевали. Он сразу же заворчал на нее: «Конечно, ты моложе, вот и скачешь. А было бы тебе с мое, не распрыгалась бы». И так всегда, чего ни коснись, только и слышит от него: «Ты помоложе, вот и сбегай, принеси»; «Ты помоложе – вот и постоишь»... Неделю не прожила бы с таким. А Наташа смирилась, прощает. Куда, дескать, теперь деваться – двое детей. Да и непьющий Павел Васильевич, бережливый мужик, в начальниках ходит... Нет, я бы ни за что...

На страницах альбома замелькали фотокарточки, запечатлевшие стадии взросления светловолосой худенькой девочки. Светлана с умилением взглядывала на них, но особо не задерживалась, перелистывала, торопясь добраться до какой-то самой интересной во всем альбоме фотографии.

– Вот! – нежно, с тихим душевным всплеском выдохнула она, найдя, наконец ту, самую нужную: – Это Коля.

С крупной, почти во весь альбомный лист карточки – любительской, белесой, недопроявленной смотрел густобровый, губатый юноша в новенькой, необжитой еще, мешковато висевшей на угловатых плечах гимнастерке, ворот которой был великоват для высокой и тонкой шеи. На стриженной голове торчали большие уши, в темных глазах – заносчивая улыбка.

Я мельком взглянул сверху вниз на девушку, на ее груди, круто и высоко поднявшие сарафан, и мне вдруг отчего-то стало жаль самоуверенно улыбающегося Колю. Вспомнилась поговорка: «Когда невеста родится – жених на коня садится».

– Ну? – вопросительно вскинула на меня свои медоцветные глаза Светлана.

– Симпатичный парнишка, – сказал я.

– Парнишка? Да в нем метр восемьдесят! – обидчиво поправила она. – Мама вот тоже... никак не разглядит Колю, не оценит. А ведь он с соседнего двора. В школе учились вместе, потом в пекарне целый год работали.

Светлана поглаживала ладонью снимок, словно желая промыть, прояснить дорогие черты. Затем стала показывать подружек, кратко поясняя, кто и куда уехал из Сосновки.

– А вы не думаете ехать? Здесь-то где учиться?

– Негде, конечно, – согласилась Светлана. – Но как быть?

– Один раз не вышло с институтом, со второго получится. Готовиться надо. Под лежачий камень, говорят, и вода не течет.

– Это верно, но... вот уж дождусь... – Она прижала альбом к груди и смолкла.

– Одно другому не мешает, – с мягким укором заметил я. – Можно и учиться, и ждать. Но не надо, наверное, делать это целью жизни. Рассчитывать на что-то сказочное. Ну, приедет Коля, ну, поженитесь, может быть...

– Почему это может быть? – Глаза Светланы наострились. – Мы обязательно поженемся.

– Допустим, хотя... это не такое уж геройство, чтобы афишировать и обольщаться. Но допустим. Поженились, а дальше?

– Будем... любить друг друга.

– Если человек займется только любовью, ему быстро эта наскучит.

– Что?! – с пугливым удивлением воскликнула Светлана.

– Не знаю, о какой любви вы говорите. Пусть даже о самой возвышенной. Все равно. Она лишь сильный компонент жизни, но не вся жизнь.

– Компонент?.. Это еще что? – Светлана с нахмуром взглянула на меня.

– Человеку надо еще что-то любить, дело какое-то, понимаете?

Светлана растерянно молчала. Я чувствовал, она хотела возразить и тем защитить свои, бог знает как сотворенные, воззрения на любовь, но не находила, что сказать.

– Вот, к примеру, Наташа, – помолчав, тихо и неуверенно заговорила она. – Очень умная, работает технологом на фабрике в райцентре. Ее уважают в коллективе. Но настоящего женского счастья у нее нет... Потому что муж такой! Сухарь, скряга... – Светлана вяло махнула рукой.

– Пусть Коля станет вашим идеалом, – пожелал я. – Тем более что ему уже повезло: его выбрала такая красивая девушка. А это трудно, по себе знаю очень трудно – сделать выбор...

– Долго выбирать – век женатым не бывать, – усмехнулась Светлана.

– Но и спешить ни к чему. Жениться – значит, как говорят, наполовину уменьшить свои права и вдвое увеличить свои обязанности...

– Ваше дело, но... «Чего не чаешь, то скорее сбудется», – наша бабушка говаривала. Один мудрый человек писал, что любовь, что... она... – Светлана смолкла и стала быстро листать фотоальбом. В самом конце его нашлась приклеенная к обложке школьная тетрадь, страницы которой были исписаны голубыми и красными чернилами. – Сейчас... Ага, вот! «Любовь видит в браке свою высшую награду и пышнее распускает свой ароматный цвет, как при лучах солнца». Белинский. Но нашла и записала эти слова я. Видите, голубые чернила. А красными Коля писал... Это еще в школе... у нас хобби было – собирать красивые слова о любви... А теперь вот от слов к делу... Может, это не цель жизни, но... коль сказала слово, – держи.

Помолчав, я сошел по ступенькам крыльца и направился в свой домишко. Прилег там поверх одеяла на кровать и закурил, равнодушно поглядывая на свои тетрадки-конспекты, брошенные на стол. Светлана... В ней, как в весенней виноградной лозе, шло неудержимое сокодвижение. Девятнадцатилетняя, она грезилась материнскими хлопотами и утешами...

Проснулся я от негромких голосов и легкого звона посуды – женщины, наверное, собирались ужинать. Чуть погодя к моей двери подошла Анастасия Семеновна и, не поднимая марлевой занавески, робковато позвала:

– Андрей Васильевич, не спите? Просим отведать горяченькой картошки.

Я встал с кровати, откинул марлевую занавеску, жестом пригласил хозяйку войти, благодарно ворча:

– Что это вы каждый вечер кормить-угощать меня взялись?

– У себя – как хотите, а в гостях – как велют, – с улыбкой настаивала Анастасия Семеновна. – Да ведь и грешно нам с вами отказаться – Цветочка ужин готовила. Самый раз поглядеть, отведать, что она застряпуха.

– А, да... конечно. Спасибо. Я сейчас...

В большой эмалированной миске на столе круглились белые крупные картофелины, в другой – соленые огурцы матерого прошлогоднего засола. На маленьких тарелочках желтели ломтики сливочного масла, зеленели пучочки молодого лука и укропа.

– Словно домой, к маме, попал... – садясь за стол, восхитился я.

– Ну, уж... чего тут, – засмушалась Светлана.

– Скучаете по маме-то? Небось один сыночек у нее? – спрашивала Анастасия Семеновна. Ей нравилось, я заметил, выведывать обо мне – кто я, чей, откуда...

– В семье у нас шесть братьев и две сестры.

– О, благодать-то! Целый колхоз... И все живы-здравы, рядышком живут?

– Два брата и сестренка в Арзамасе на заводах работают. Я здесь, остальные с матерью, в поселке. Отец умер. Пришел с войны израненный весь... В основном мама с нами нянчилась, до дела доводила.

– Ох, труженица милая. Надо же такую ораву выходить, обслужить, обстирать, обогреть!.. По себе знаю. Тут вот двух девок на ноги поставить – и то какво. А эта – восьмерых! Голова закружится. К тому же парни, народ бедовый. А у вас, говорите, все путные, все до дела дошли?

– Позаканчивали школу, потом учиться разъехались кто куда. Два брата старших институты кончили, сестра – медучилище, я вот тоже...

– Часто примечаю: коль человек в большой семье возрастает, то и толк в нем, и доброта, – Анастасия Семеновна с обновленным каким-то вниманием разглядывала меня. – А нынче молодые взяли моду не рожать. Одного испекут – и шабаш. И что он в семье один-то, без сестер и братишек? Хоть и пичкают его со всех сторон воспитанием и разными благостями, а из него то ли черствосердечный гордец, то ли барин-сластник, аль прямо свиненок получается. А то кто ж еще? Ведь с пеленок приучен, чтобы возле него одного весь мир на цыпочках танцевал.

– Чересчур обобщаешь, мам, – заметила Светлана. – Бывает, и единственный ребенок в семье прекрасным человеком вырастает. И вообще этот разговор до небес... А картошка остывает. Вы ешьте, Андрей...

– Васильевич! – круто напомнила Анастасия Семеновна.

– Не подсказывай, мам, сама знаю, – игриво возмутилась Светлана. – Ну, хорошо. Васильевич. Солидно. Но мне как-то тяжело так называть. Он же комсомолец еще, наверное. Как и я. Ведь, правда? – Светлана с вспыхнувшим румянцем умоляюще посмотрела на меня. – Ведь мы же комсомольского возраста, а величаем друг друга как в старинных романах...

– Ваше дело, – помолчав, разрешающе махнула рукой Анастасия Семеновна, – а я как называла Андреем Васильевичем, так и буду... Так-то хоть лишний разок имя отца его вспомнишь... А маму вашу, праведницу сердобольную, как зовут?

– Тоже Настей. Анастасией Степановной.

– Бог даст, может, свидимся когда, – робко помечтала хозяйка. – Может, еще сюда приедете отдыхать. И мать с собой позовете. Уж ей-то, милой, есть от чего передохнуть. В семье, считай, одни мужики. Было бы девчат побольше, все ей облегчение для рук. Ну, теперь снохи пойдут.

– На снох мала надежда. «Примеров тьму про то мы слышим», – с иронией продекламировал я.

– Что так?

Я молча жевал душистую картошку, прикусывая ядреным огурцом. Не хотелось вспоминать и рассказывать о потухшем образе той, которая еще до нашей назревающей, но так и не состоявшейся свадьбы принималась в нашем доме за сноху, помогала маме стирать, шить, мыла полы, словно загодя всячески опробовала себя, готовясь к возможным тяготам беспокойной, хлопотной жизни в большущей нашей семье. Лида-Лидушка... Одноклассница, сверстница моя, любимая подруга была настолько моей, нашей, что предстоящая временная разлука – солдатская моя служба – не только ничем не угрожала нам, наоборот, твердо обещала радость

неминучей победы в этом несложном, пустяковом испытании, которое нам было даже необходимо, как тот обязательный срок, что нынче дается в загсе каждой молодой паре для неспешного обдумывания своего предстоящего вступления в брачный союз...

Последние недели перед моим отъездом вылились в какое-то непрерывное головокружительное свидание. Мы уже ничего не воспринимали, не помнили, не замечали, почти беспомытно находясь во власти той мучительной любви, что ежевечерне готовится, жаждет разрядиться в полном обладании друг другом, но никак не разряжается, а лишь невинно-казняще дразнит, гордая и манящая этим своим воздержанием...

Мои письма с солдатскими штемпелями на конвертах, сло-вообильные, клятвенные, приторно-нежные, как теперь мне кажется, продолжали обещать моей Лидушке все те же встречи, те же жаркие поцелуи и объятия, то есть не давали ей и мне ни малейшего отдыха от все той же, вконец измучившей нас, уже истекшей словами, словно бы забуксовавшей на месте прежней любви, которой следовало бы уже как-то повзрослеть.

К концу первого года моей службы Лида перестала отвечать на письма, потом кратко сообщила, что вышла замуж за местного парня, что он старше ее, а значит, и меня, на пять лет. Эта новость ударила, ошеломила, хотелось выпросить у командира отпуск, слетать в Шатково хотя бы на один день, на один часок увидеть ее глаза и сказать... Сказать ей что-нибудь немыслимое, сотрясающее! Отомстить...

Увидел, повстречал я Лиду лишь по возвращении в Шатково. В наглаженном мундире, с погонами сержанта отправился однажды в клуб. Тут из проулка навстречу медленно вышла молодая пара. Лида и ее муж Борис Горяйнов – механик совхозной мехмастерской. В руках он держал завернутого в голубое атласное одеяльце ребенка. Лида вела мужа под ручку.

Сразу же узнала меня.

– Ой, Андрюша! – тихо воскликнула она своим прежним, прекрасным голосом, и я даже пошатнулся от внезапного головокружения. Лида протянула мне руку. – Ну, здравствуй. С приездом... Вот ты какой стал... Прямо настоящий мужчина!

«А разве я не был им?» – чуть не вырвалось у меня из груди. Но внезапность встречи, вызвавшей во мне какой-то необъяснимый радостный испуг, не дала подняться моей старой обиде. Лида еще что-то говорила, говорила, разглядывая меня как своего родственника, как доброго школьного друга, говорила, казалось, для того, чтобы не молчать, чтобы я не смог опомниться, вспомнить...

Они стояли передо мной растерянные, виновато улыбающиеся, но счастливые, взаимно надежные, соединенные неведомой пока мне, но ими уже испытанной, судя по их глазам, самой строгой и самой нежной радостью быть родителями, держать в руках крохотное, курносое, живое чудо.

– Как зовут? – деланно ласково спросил я, заглянув в личико спящего ребенка.

– Роман, Ромашка, – наперебой ответили Борис и Лида, с горделивой угодливостью приближая ко мне голубой сверток.

– Ну, будь здоров, Рома... и вы тоже, – сбивчиво пожелал я задрожавшим голосом, комкая, давя в себе просыпающуюся горечь и обиду. Мы неловко и как-то опасно замолчали.

– Закуришь? – басисто предложил Борис, достав из кармана пачку сигарет. Мелькнула перед моими глазами крепкая, красивая мужская рука с черными волосками на запястье.

– Да. – Я торопливо взял пачку, спасительно заняв сигаретой рот и беспокойные свои руки.

Нет, ничего потрясающего не произошло, не случилось в эти долгожданные минуты возмездия, при этой невероятной встрече, которую воображение мое тысячу раз рисовало самыми резкими красками: не грянул гром, не рухнули деревья, не погасло солнце, не лопнуло мое сердце, не сорвались с гневных губ разящие слова укора... Лида и Борис тихо стояли в полуметре от меня и открыто, хотя и не без некоторой настороженности, смотрели мне в лицо.

Не было в их глазах какого-либо сочувствия ко мне, жалости, а главное – не было в них и гордой выпренности преуспевших, злого торжества победителей. И это обезоруживало меня, звало понять и простить...

– Ну, заходи к нам в гости, Андрей, – не давая скопиться молчанию, сказала Лида буднично-приветливым, каким-то обесцвеченным, внешне веселым, но внутреннее глухим, ничего как бы не помнящим голосом.

И я понял, что Лида, моя милая Лидушка, теперь уже навсегда не моя. И нужно уехать, удалиться куда-нибудь мне. Не созерцать рядом с другим ее, красивую, от материнства еще более похорошевшую, такую насквозь родную...

– Что так? – помолчав, переспросила Анастасия Семеновна. – Иная сноха ласковее дочери бывает.

– Может, и бывает, – вяло согласился я, – но мне кое-что свое вспомнилось...

– Пока он служил, его девушка, невеста, замуж вышла, – торопливо пояснила Светлана, запоздало советуясь со мной глазами.

– Не стоит об этом...

– Вот, вот, – подхватила мое настроение Анастасия Семеновна. – Надо ли по таким тужить?.. Была бы путевая – дождалась... А вы картошку забыли, совсем остынет. Да вот молочка еще... Звездочка-то по целому ведру из леса приносит. Ох, и трава нынче! Сам бы ел... Не знаю только, как на зиму ей сенца припасти.

– Как всегда, – равнодушно сказала Светлана.

– Всегда-то я заботы, не знала. Муж – шофер, сам накосит, сам привезет... Прошлым летом зятек приезжал, подсобил. А теперь его прорабом на стройке поставили. Такая у него летом горячка, сезон, что не до нас теперь ему...

– Дедушка поможет. Возле кордона стожок насшибаем, и хватит, – утешающе посулила Светлана.

– Кто насшибает? Восьмидесятилетний дедушка или я со своим полиартритом? – Анастасия Семеновна укорно, с досадой шлепнула по своим коленям. – Или ты?

– А что? Подружку приглашу, Петяньке Кротову подморгну по такому случаю. Не откажет хроменький, – игриво усмехнулась Светлана.

– С ним только свяжись, полгода будет опохмелки выклянчивать, – хмуро заметила Анастасия Семеновна.

– А меня почему забыли? Я же просил вас, Анастасия Семеновна, работы меня не лишать. А сенокос – это ж мечта!

– Особо не размечтаешься... Сенокос – такое дело, семь потов сойдет, – предостерегающе сказала Анастасия Семеновна, внутренне довольная моим рвением.

– Не лишайте меня этой радости. Сто лет не брал в руки косу...

– Вот видишь, мам: записался добровольцем, – искренне гордясь мною, сказала Светлана, и предстоящий сенокос ей, как мне показалось, был уже не в тягость.

6

В пятницу, дождавшись Светлану с работы, Анастасия Семеновна удалилась куда-то с озабоченным лицом и вскоре подъехала к воротам на телеге. Рыжая, с желтоватой гривой крупная кобыла покосилась на меня большим зеркально-черным глазом, но я смело погладил ее по хребтине, взобрался на тесовый передок телеги, взял в руки вожжи и сразу почувствовал себя мальчишкой.

Светлана принесла в телегу охапку старой одежды,

– Пригодится от дождя и комаров, – сказала она и, увидев, как мать тащит грабли и вилы, крикнула: – Мам, все это у дедушки есть. Не зря же вчера я бегала на кордон и предупредила.

Анастасия Семеновна суетливо вернулась во двор, приставила к стене сарайчика орудия труда, затем в утиную скороходную развалочку сбегала к соседке, попросила ту за домом приглядеть, корову подоить, в стадо выпроводить.

– Чем людей канителить, осталась бы дома, мам... Без тебя управимся, – присаживаясь рядом со мной на передок телеги, посоветовала Светлана, дослушав разговор матери с соседкой, что громко велся через забор.

– Ага. Управитесь!.. Так управитесь, что... – Анастасия Семеновна метнула в нас резкий взгляд и решительно полезла в телегу.

Светлана привстала, помогая матери взобраться в дощатый кузовок и, когда Анастасия Семеновна, охнув, перевалилась через борт, села уже не рядом со мной, а возле нее. Буланая будто только и ждала этого момента: стоило хозяйке оказаться в телеге, как лошадь без какой-либо моей команды зашагала по дороге.

– Но-о, – запоздало прикрикнул я, шлепая ременной вожжей по бархатистому крупу кобылы. Но она шагала ровно и невозмутимо.

– Па-ашла, Буланка, ну, па-ашла! – понукала ее Анастасия Семеновна, не повелевая, а словно бы разрешая лошади с медленного шага перейти на привычную дорожную трусцу. – Не шибко прытка. Раскормил Пантелеич ее при пекарне. Это лошадка завхоза нашего.

Помолчав немного, Анастасия Семеновна напомнила дочери:

– Сулила подружку на сенокос позвать. Где ж она?

– На выходные дни Тоська в город укатила... Да ты не болей, мам. Сами управимся. Два мужика будут косить, а мы с тобой сгребать да стоговать, – бойко утешала Светлана.

– Работнички, – усмехнулась Анастасия Семеновна. – Один другого стоит. Дед Берендей с радикулитом и грыжей. Баба-яга хромая нога. Да вот Иван-царевич на сером волке, то бишь на буланой кобыле, что совсем его не слушает...

– А я кто? Снегурочка? – Светлана рассмеялась. – Вы слышите, Андрей, как мама нас критикует?

Я оглянулся, улыбочиво-обещающе кивнул женщинам: дескать, погодите, я делом докажу, на что способен. А то, что кобылка меня не почитает, так тут завхоз Пантелеич виноват – ишь как раскормил конягу, ей даже самая малая трусца в тягость. Ленился, каждый пологий взгорок, неприметную колдобинку стережет, как повод с бега перейти на скучный шаг. Все же ехать по лесной песчаной, оцепленной с обеих сторон пушистыми лапами елей, шеренгами сосен и берез дороге было хорошо, весело: за каждым поворотом открывалась новая живая картина хмуро густеющего по мере нашего продвижения старого бора. За полкилометра от лесничьего кордона путь нам преградила речушка. Мелкая, узкая, шагов пятнадцать ширины, с хрустально-прозрачной быстрой водой и крутыми берегами. Дорога метров сто шла по-над речкой, потом спустилась к шаткому, наспех сколоченному из отесанных топором горбылей мосту. Они дробно «заиграли» под колесами телеги, Анастасия Семеновна, жестко подскакивая на сиденье, запричитала сердито:

– А когда эту времянку заменят? Каждую весну новый мост мастерят. Тяп-ляп, на скорую руку срубят, и ладно. Чего-де стараться – водополица все равно снесет. Каждый год уносит. Золотой мосток-то. Бросают деньги на ветер... А что не поставит бы тут хороший, стационарный, как батяня мой, Семен Емельянович, говорит? Хозяина нет.

– Так он сам здесь первый хозяин, Семен Емельяныч-то. Ведь это его участок, обход? – повернулся я с вопросом к Анастасии Семеновне.

– Его-то его. Но мост ставить районная власть должна. А у батяни без того работы хватает. – Она повела глазами по деревьям. – Батянин обход сразу по аккуратности узнаешь: тут белый столбик, там табличка... У мостка – заметили? – стол со скамейкой и надпись: «Место для курения». Пожарный инвентарь рядом висит. Не лес – парк ухоженный.

– А вверху, поглядите, птичьи домики на деревьях развешаны: скворечники, кормушки... Многие дедушка сам сделал, да еще ребяташки-шефы помогают, – вступилась за дедушку Светлана, хотя я ни в чем его не обвинял. Во мне лишь ворохнулось профессиональное чувство мостостроителя: иметь под рукой столько лесоматериала и не соорудить крепкий, добротный мост?

– Непонятно, как по нему многотонные лесовозы ходят? – задал я вопрос самому себе.

– Лесовозы кружным путем, в объезд идут... Да и редко теперь. Бор заповедный, окромя санитарных рубок, другие-то почти не ведутся, – пояснила Анастасия Семеновна,

– А прежде велись... рубили?

– Как же. Тут такое творилось. Не дай бог, – горестно вздохнула женщина. – Батяня вам расскажет, коль сумеете к нему приноровиться... Он пятьдесят лет тут лесником, восемнадцатый год на пенсии, а из лесу ни на шаг. На станцию, поближе к себе, хотела его переселить. Шиш! Никакие уговоры не слушает... Когда маманя жива была, он подойдет иной раз да спросит: «Тебе не наскучило в лесу со мной? Может, куда переехать нам?». Но маманя-то знала: оторви его от леса – затоскует, изведется, как птица в клетке... Тут и дожила она с ним свой век... Во-он крыша уж завиднелась. Подъезжаем. Кордон...

Мы въехали на обширную поляну, посреди которой угрюмо возвышалась большая, темная от старости, рубленая изба лесника.

Послышался строгий лай собаки, и навстречу нам выбежала крупная овчарка. Тихо прикрикнув на нее, к телеге подошел кряжистый, чуть сутуловатый, но подвижный, легкий на ходу, седобородый старик. Лицо у него было сухое и крепкое, без отечных подглазниц и возрастной дряблости, с редкими, но глубокими, заматерелыми от ветра и солнца морщинами вокруг рта. На крупной голове выступала круглая лысина, оцепленная валиком седых клочковатых волос, отчего сверху голова казалась опустевшим гнездом каких-то птиц. Старик молча, кивком поприветствовал нас, взял лошадь за узду и отвел под навес сарайчика. Там он очень ловко, в три-четыре движения, распряг ее и подоткнул к коновязи, где стояла корзина с травой.

Позабываясь о кобыле, старик повернулся к нам, заулыбался и развел руками:

– Ну а теперь здравствуйте. Добро пожаловать... Я такую ушицу сготовил. Спробуем?

Перед окнами избы на дубовом столе высился закоптелый чугун.

– Настя, неси чашки, ложки. Помогай, – захопотал старик. – Повечеряем – и на бочок. Завтра раненько вас подыму.

Пока Анастасия Семеновна с батяней собирали на стол, Светлана вымыла полы на крыльце и в избе, принесла из колодца два ведра свежей воды. Мои попытки чем-либо помочь Черниковым наталкивались на их улыбочивые отказы: «А вы отдохайте. Будет и вам работа».

– Хоть не богат, а гостям рад, – крякнув, тепло сказал дед, широким жестом приглашая всех к столу. – Присаживайся, молодой человек. Как зовут-то? Андрей?.. Вот и ладно.

Уха из карасей и голавликов была так вкусна, что я дважды просил добавки. Старик большим деревянным половником зачерпывал в огромном чугуне пахнущую дымком и какими-то неведомыми, дикими специями жижу и с умилением на вспотевшем лице учтиво подливал в мою тарелку.

– Ну и ушица! – Благодарно отдуваясь, Анастасия Семеновна отодвинула от себя порожнюю тарелку. – Закормишь нас, батянь, мы и на сенокос не стодимся... Присмотрел хоть, где косить-то?

– Может, по бережкам Мишулинского озера посшибать? – подсказала Светлана.

– Это под дубами-то? Кто ж у дубов да с низин коровам сено косит? – недовольный, забурчал старик. – Ежли ради купанья поближе к воде норовишь, то так и скажи.

– Ладно, тебе видней, батяня, – с твердой надеждой заключила Анастасия Семеновна.

– Что так, то так; не учи хромать, у кого ноги болят, – сказал старик и, окинув стол, добавил: – А теперь чайку с самодельной заваркой... Тут и смородина, и цвет липы...

Чай был густым и ароматным, словно бы в нем растворились запахи всех цветов и трав леса. Пили неспеша, прикусывая кусочками колотого сахара, вдыхая ядреный, к вечеру остро и пахуче повлажневший сосновый воздух. Полному нашему благополучию мешали лишь комары. То и дело приходилось охлестывать себя ладонями. Старика они не трогали или он их не признавал. Жалеючи нас, Семен Емельянович принес со двора большой жестяной короб, на закопченном дне которого валялись щепки.

– Немножко подымим, не то зажалят они вас, охальники, – сказал он и развел костерок.

Мы сидели за столом и смотрели на огонь, живой цвет его тревожно сочетался с гневной красотой закатного неба. Молчать было хорошо, но неловко. Рядом, в отблесках пламени, недвижно-каменно сидел лесной человек, не сказочный, а как бы взаправдашний седой Берендей, жизнь которого вобрала тысячи интересных, страшных, невероятных историй, случаев, лесных легенд...

– Не страшно вам здесь одному жить, Семен Емельянович? – спросил я, чтобы не молчать.

– Разве ж я один? – неохотно заговорил старик. – День и ночь идут и едут. Кто явью, кто тайком... Грибники, охотники, ягодники – много тут разного люда шастает. Поспевай приглядывать.

– Укараулить-то трудно всех, а?

– Лесник – не сторож, – сухо ватно ответил старик. – Он людьми силен. Сумеешь с ними поладить – друзья, помощники твои. Не сумеешь – нагорюешься...

Старик замолчал, словно не желая тратить время на долгий разговор, который нужен только для пустой потехи, для улады моего праздного любопытства. Уловив это настроение деда, Светлана решила наполнить нашу беседу серьезным содержанием.

– Понимаете, Андрей?.. Лесник – это хозяин леса... Он еще и организатор. От людей, от пожаров, от всяких болезней и вредителей – от всего он должен лес защищать. Гонять воров и браконьеров. Быть бухгалтером и экономистом. Процент приживаемости саженцев, санитарное состояние, качество рубки... Все на нем. Понимаете, лес – не склад ценностей, повесил замок и ушел. Тут все живое, все в движении: и деревья, и вода, и птицы, и звери...

– Погоди-ка, внучка. Он что, корреспондент? – Старик сумрачно взглянул мне в лицо. – Чегой-то взялась ему толковать?

– Нет, он дорожный строитель, мосты и дороги ведет, – пояснила Светлана.

– Ага. Это хорошо. – Старик впервые, кажется, вдруг с интересом посмотрел на меня. – Хорошо это... Не нам ли мост приехал запроектировать?

– Нет. Он просто... отдыхающий. А мосты он там у себя в области строит, – опасаясь почему-то за благополучие нашей беседы, ответила за меня Светлана.

– Это где ж у себя? А мы-то, не в нашей ли области живем? Мы-то разве ж другое государство? – Старик сердито уставился на внучку.

Та не нашлась, что ответить, и перевела взгляд на меня. Она гордилась дедом и хотела, чтобы и мне он понравился, чтобы разговор меж нами был добрый, подружил нас.

– Я работаю в областном дорожно-строительном управлении, а этот лес на территории Бузулукского района, значит, мост должен строить районный ДСУ – дорожно-строительный участок, – начал я толковать старику.

– Про это мы давно слышали, кто да что должен, – прервал меня Семен Емельянович, потеряв ко мне вспыхнувший было интерес. – Каждый только и норовит за бумагу спрятаться.

Взглянув на дремотно клюющую носом Анастасию Семеновну, он скучно сказал:

– Однако спать пора. Настя, ты похлопочи, где кого положить. Моя постель на веранде, молодых надо в избу, чтоб от комарья подальше.

Анастасия Семеновна с дочерью живо убрали со стола посуду, оставшимся в чайнике кипятком помыли ее, насухо вытерли полотенцем. Тем временем я насобирав сухого валежника, измельчил и подбросил в костер. Старик с молчаливым неодобрением посмотрел на заплясавшее с новой силой пламя, потом на меня, суля мне свою упорную необщительность и неприязнь. Светлана подошла к нему и, как котенок, стала тереться щекой о его плечо.

– Дедушка, мы чуточку посидим? Спать нисколечко не охота.

– Дело ваше молодое. Только завтра, глядите, чуть свет разбужу, – примирительно погрозил старик и ушел в избу.

У костра остались сидеть на скамеечке Анастасия Семеновна, Светлана и я. Старая женщина позевывала, зябко оглядываясь на густо обступившую нас тяжелую лесную темень. Из бора доносились дикое завывание филина, нежные рыдания иволги. На свет костра из темноты вылетали, суется и танцует, белые, похожие на крупные снежинки бабочки-мотыльки. Они слепо стучались о нас и падали в огонь.

Ко мне неслышно подошла собака, внимательно обнюхала и отошла к конуре.

– А и вправду жутковато тут, ежели одному-то, – поежилась Анастасия Семеновна. – Это сейчас – лето. А зимой каково, в метельную ночь? Осенью – при дожде и грязюке – тоже... Нет, никакая зарплата не удержит тут человека, окромя привычки да любви...

– Ужель совсем один он здесь, на кордоне? – подивился я.

– Помощничек имеется. Молодой лесник, парнишка после техникума. Стажируется. Живет в Челюкине, недалеко тут деревенька, дворов сорок. Сюда на мотоцикле ездит. – Анастасия Семеновна шумно зевнула и тяжело поднялась со скамейки. – Угли-то опосля водой залейте... Я вам, Андрей Васильевич, в горнице постелила. А ты, Цветочка, со мной в теплушке, на маминой кровати поспишь. Да и, вправду, особливо не засиживайтесь, завтра на зорьке вставать.

Прихрамывая, Анастасия Семеновна взошла на крыльцо и, перед тем как скрыться за дверью, негромко, сторожко прикрикнула:

– Цветочка, ты у меня гляди!

– Я скоро, мам, – поспешно откликнулась Светлана и отошла от скамейки, от меня к костру, ради которого она будто бы и решила задержаться на поляне под звездным куполом низкого лесного неба. – Вот костерок догорит и...

Взяв прутик, она подцепляла им мелкие хворостинки и кидала их в огонь. На фоне костра вырезался профиль ее фигуры и лица. Белыми ромашковыми лепестками над огнем, в плясовой толкотне неистовствовали бабочки-мотыльки, сталкиваясь, падали на белую кофточку Светланы, в бездымное пламя костра.

– Вот глупышки, – пожалела насекомых девушка. – Ведь знают, что сгорят, а летят, однако...

– Ничего они не знают. Это бабочки-однодневки. Нынче родились, нынче и померли. Никакого опыта жизни.

– А зачем им этот опыт? – повернув ко мне алое, озаренное снизу лицо, задумчиво сказала Светлана.

– Всякая бессмыслица неприятна... Вот жизнь человека – тоже ведь мгновение в масштабе Вселенной. Но мы... учимся, работаем, чего-то добиваемся, опыт стараемся приобрести, чтобы не ушибаться, не ошибаться, не обжигаться... Хотя, как и эти бабочки, летим на красивый огонь... Особенно в любви...

– У кого такая красивая, огневая любовь, тот разнесчастный, завсегда с пустыми руками остается. – Светлана подошла, села на скамейку почти рядом со мной и, глядя на костер, с неестественным, каким-то заемным разочарованием продолжала: – Это и в жизни видишь, и в кино, и в книгах, которые про любовь. Завсегда она горько кончается... Вот даже у вас.

– Света, давайте перейдем на «ты»?

– Давайте, я уже предлагала... – небрежно сказала она, лишь на секунду повернувшись ко мне лицом.

Я заметил, что, разговаривая со мной, она не смотрела на меня, бросала слова в темноту, словно ей было безразлично, слышу я их или нет. Возможно, таким образом, она вымещала на мне обиду за то, что я неуклюже беседовал с ее дедом, никак не отозвался о нем, не оценил его. Но ведь он и не нуждался во мне. И Светлане я тоже, кажется, был безразличен в этой своей роли ходячего праведника: возраст, внешность и прочие мои данные при сложившихся между нами взаимоотношениях не имели никакого значения – будь я юным красавцем или лысым дядей, все равно оставался бы для нее нейтральным человеком. И этот нейтралитет, который я из лучших побуждений занял по отношению к девушке, эта не подающая признаков жизни моя добродетель все более обременяли меня, принуждали стеречь, сковывать искренние свои порывы и желания. Любуясь Светланой, я созерцал ее словно бы через стекло, которое сам поставил между нами. Она тоже, мне казалось, тяготилась условной обязанностью видеть во мне парня, с кем не нужно быть настороже, который по какому-то негласному, навязанному себе самому обету начисто лишил себя мужского права и желания видеть в ней женщину. Хотелось растолкать все условности и пробиться – пусть даже через ссору – к сердечному, сокровенному в Светланиной жизни.

– Ну и как же надо любить, чтобы не остаться с пустыми руками? – с улыбкой подколот я девушку и положил ладонь на ее плечо.

– Не знаю, – ответила она серьезно, не принимая моего язвительно-шутливого тона. В красном сумраке лучисто мерцали ее тревожные глаза. – Плохо, если любовь после себя оставляет пустоту.

– Где, кому оставляет?

– В нашей жизни... вот в этом мире, где живут люди. – Светлана протянула вперед руки, словно обняла ими пустоту.

Костер угасал, язычки пламени улеглись, и чернильная темнота вокруг стала, как бы проясняться, разжижаться – на фоне ночной синевы неба проступили кругловерхие сосны, зеленоватый, таинственный полусвет ореолом зыбился над высокой крышей избы, из-за которой вот-вот должна была выплыть давно уже объявившаяся там, но заслоненная от нас строением невысокая луна. Над белесо-алыми углями костра заканчивали свой воздушный танец глупые мотыльки, покрытые шелковистой пылью насекомые с крылышками и тонкими нитями на конце бело-серого брюшка. Одна из бабочек упала в подол черной юбки Светланы. Та взяла ее за слабые трепыхающиеся крылья и подбросила вверх.

– Чудо какое, – зашептала Светлана. – За один день успела из личинки выйти, взрослой бабочкой стать, позаботиться о потомстве, яички в укромное место положить, а к вечеру умереть... А самцы живут еще короче. Они погибают сразу же после встречи с самкой.

– Увы, такова природа. Мужчины на шесть-семь лет живут меньше, чем женщины, – данные мировой статистики.

– Вот ты говоришь, что бессмыслица все это, – продолжила Светлана. – А, по-моему, это удивительно: бабочке всего один денек отпущен, но и его она главной заботе отдала: ей бы свой род продлить, живое на земле...

– Ну, это, так сказать, биологический взгляд на природу. Размножение насекомых – действие ее слепого механизма. Но человек-то должен осмысливать...

– Что-то не понимаю, – сказала Светлана, тряхнув своей широкой косой.

– Я против инертности, понимаешь, против самотека в жизни... Вот ты работаешь в пекарне. Но твое ли это место? Приткнулась к первому попавшему под руку делу – и шабаш... Не опробовала себя ни в чем другом. Такая девушка!

– Какая такая? – не поняв, кажется, о чем я говорю, но польщенная тоном моего голоса, спросила Светлана и сама же ответила: – Обыкновенная, как все... Кому-то надо и тесто

месить. Поработаю в пекарне, а там видно будет... Приедет Коля, посоветуемся. Спешить нам нечего и некуда.

– О Коле ты говоришь как о вкладе на собственной сберкнижке. С такой гарантией...

– Мы договорились ждать, и спокойны друг за друга...

– Спокойная любовь, договорная... Застолбили друг друга, значит.

– А нам не нужны разные там... вспышки да пожары!

– Эй, соловьи, когда спать будем? – донесся из форточки глухой, с шепелявинкой голос Анастасии Семеновны.

Светлана поднялась со скамейки, взяла чайник и стала поливать водой красные, сердито зашипевшие, изрыгнувшие дым и белый пепел угли.

– Ну, будем спать, что ли? – спрашивающим тоном пригласила она, подойдя ко мне.

Лунный свет облил ее белую блузку, под которой туго круглились высокие груди.

– И не сердись. – Она подала мне руку и, пожимая ее, я ощутил через эту упругую теплую ладонь все настроенное тело девушки.

– Может, еще... посидим? – забормотал я, а сам уже встал и покорно зашагал к избе, робко удерживая Светлану за мизинец ее левой руки.

Она взошла на крыльцо и, освобождая руку, шагнула в прихожую, где слабо желтела под потолком засиженная мухами лампочка. Не оглядываясь, молча юркнула за русскую печь – в теплушку, к матери.

– А вы, Андрей Васильевич, в горницу проходите: там без комаров благодать, – послышался из-за перегородки сонный голос Анастасии Семеновны.

– Спокойной ночи! – громко шепнул я перегородке.

В горнице, просторной, широкой, с высоким некрашеным потолком, я лишь на минутку включил свет, чтобы найти постель и раздеться. Взгромоздясь на непривычно высокую, мягкую кровать, я закрыл глаза.

За перегородкой глухо переговаривались Анастасия Семеновна и Светлана. Что-то там зашуршало, потом скрипнули старые пружины: это кровать, наверное, приняла девушку. Я невольно вслушивался в звуки, томясь близостью и одновременно недостижимой отдаленностью и недоступностью Светланы.

– Может, впереди пойдете? – спросил меня старик, закатывая рукава широкой темной рубахи.

– Нет. Лучше за вами. Отвык я, вот и буду приглядывать, – признался я, видя, с какой привычной деловитостью взяла в руки косу Светлана.

– А я сзади тебя буду подталкивать, – хохотнув, пообещала она.

– Ну, тогда в добрый час! – сказал старик и, отвернувшись, взмахнул косой.

Я двинулся следом, ловя взглядом сильные, мерные движения его рук.

– Землю роешь, Андрей. Пяточку, пяточку приподними, – зашумела сзади Светлана. – Да и не маши так грубо, не камыш косишь, а траву...

Вскоре я взмок – не столько от косьбы, сколько от торопливого усердия не отстать от старика, косца недюжинной силы и сноровки, и желания не быть помехой для двигавшейся за мной Светланы. Она тоже раскраснелась, но лицо ее было сухо; она, как и дед, только еще набирала нужный, неспешный, но спорый ритм косьбы, при котором сил хватит на весь долгий летний день.

Когда прошли туда-сюда загонку, Семен Емельянович остановился и, глубоко, сладко дыша, почесывая через расстегнутую рубаху седую волосатую грудь, сказал негромко:

– Однако, ладим. Ишь оно как...

Он оглядел зеленую, размеченную полосками пробивающегося сквозь сосны золотого солнца луговину, вытащил из голенища сапога длинный брусок, поширкал им по лезвию косы и кивнул нам:

– Поднажмем, ребятки, пока прохладца. Сейчас только и робить.

Косили молча, шаг в шаг, замах в замах, оставляя позади три плотных валка душистого, пестреющего цветами разнотравья. А лес давно проснулся, гомонил, верещал птичьими головами, металлически сиял накаляющейся бронзой сосен. Мы заметили это, когда сделали перекур. Курил я один, старик отошел в сторонку и сел под березкой на толстый замоховелый пенек. К нему тотчас подошла Светлана и приказала:

– Встань, дедушка. Пенек сырой, с ночи холодный. Опять радикулит схватишь.

Старик с неохотой приподнялся, тем моментом Светлана сдернула с себя трикотажную кофту, сложила вдвое и кинула на пенек.

– Как пеленку под младенца... – садясь на подстилку, одобрительно заворчал Семен Емельянович. – Поутру тяжело вставать. И тут болит, и там болит. Но главное – встать, а потом в работе разомнешься, и опять ничего...

– Сказано же: труд подливает масло в лампу жизни, – подбодрил я старика.

– Да еще как подливает! – весело подхватил он, настраиваясь, мне показалось, на добрые ко мне чувства. – Вот есть, слышал, дерево такое заморское. Секвойя называется. Более ста метров в высоту и до десяти в ширину. Тыщи лет живет. Само по себе оно вроде даже и не умирает. По старости. Только по какому злему случаю стихии, ежели буря, молния, человек ли позарится... Вот бы, думаю, так: расти, расти, работать, работать и помереть бы на ходу, на ногах. А не по старости... – Посидел немного в задумчивой размягченности и протянул руку к моей косе: – Давай поправлю. И твою, внука...

Он резко водил по лезвию бруском, высекая голубоватые искорки. Кончив точить, поширкал по острию косы лубяным ногтем и вернул ее мне. Поднесла свою косу Светлана, а сама стала прохаживаться вдоль елочек, взмахивая руками, нагоняя на запаренное свое лицо ветерок. В коричневых вельветовых брючках, в желтой майке-футболке, она выглядела такой красивой, нездешне-модной, что, казалось, уже больше не подойдет к нам и не возьмет в руки тяжелую дедовскую косу.

– Сказывал, дороги, мосты строишь? – без всякой связи с обстановкой и разговором вдруг спросил старик, подняв на меня серые, вылинявшие, но цепкие, острые глаза. – А что не подсказать бы там, в области, насчет нашего моста? Скоко можно живое дело в посулах топить?

Я не нашелся что ответить. Молчал.

– Был он всем надобен, когда лес везли-несли, а теперь вроде никому, – продолжал разъяснять и заодно жаловаться, возмущаться старик. – Небось слышал, одно время к нам нефтяники нагрянули. Под этим лесом нефть нашли. И началось! Нефтью поляны, речушки загадили, то тут, то там пожары взялись... Прогнали нефтяников. Надолго ли... Вот они каждый год мост строили. Миллионеры, для них это дело – пустяк. Но вот ушли, слава богу, только мосток теперь некому ладить. Ближние деревни, я слышал, в складчину собрали деньги, отвезли в район этому самому ДСУ. А моста по сей день нет... Приходят по весне плотники с районной мебельной фабрики, кое-как, на соплях мосток возведут к середине лета, а в апреле его уносит. И опять я от людей отрезан. А по весне в лесу стоко хлопот, и транспорт, и люди надобны...

Старика даже одышка взяла от волнения и от такой непривычно долгой своей речи.

– Вы правы, Семен Емельянович, без настоящего моста тут никак нельзя, – поддержал я лесника, который почувствовал во мне человека, имеющего некоторое отношение к его кровной заботе. – Как тут без транспорта-то? Ведь лес хоть и заповедный, но рубки-то ведутся...

– А как же! И выборочные, и санитарные... Не отдавать же спелое дерево червям! Сосна двести, триста лет стоит. Ну, а потом уступи место молоды, матушка. Рубим, конечно, с умом...

– Дней через десять я буду уже в городе и поинтересуюсь, включен ли в план нашего управления этот объект, – пообещал я леснику. – Узнаю и напишу вам.

– Ты уж похлопочи. Понимаешь, дело обчее, для всех...

Во время следующего перекура, когда старик вместо отдыха на пеньке стал обмерять шагами соседнюю, проглядывающую сквозь черемуховые кусты цветочную поляну, Светлана подседа ко мне и затараторила:

– Что тут творилось! Что творилось! Вот недалеко, между речкой и кордоном, хотели буровую взгромоздить. Тягачи ее, разборную, уже к мосту подтащили, а дедушка вышел навстречу с ружьем. «Сунетесь на территорию обхода – застрелю!» – кричит. А трактористы схитрили, машут в ответ: мы тут-де не при чем. Приказ выполняем. А нельзя так нельзя. Мирно подошли, закурили. Потом хватъ у дедушки ружье – и снова на трактор. Опять на мост прут. Тогда дедушка лег поперек на бревна, гусеница тягача возле его головы остановилась. Трактористы да бурильщики-монтажники опять подскочили к нему, схватили за руки и за ноги, стащили с моста на берег и держали так, пока тракторы буровую по мосту везли... Дедушка с гнева заболел, слег. Потом с главным лесничим махнули в Москву, к министру... Понаехало тут разного начальства. Долго ли, скоро ли сказка сказывается... В общем, тягачам пришлось назад из лесу буровые оттаскивать...

Анастасия Семеновна встретила нас густым фасолевым супом, яичницей-глазуньей, пышными ватрушками. Старик и я умылись, скинув с себя потные рубахи. Светлана тут же принесла нам ветхое, но чистое мужское белье. Старик надел просторную белую рубаху, а я лишь перекинул через плечо какую-то линялую распашонку. Возле избы, в безветрии, настоялась жаркая духота, комары попрятались от солнца, можно было свободно загорать.

– А ничего, не оробел наш строитель. Сперва морщился, чертыхался, потом свыкся, пошел... – за обедом похвалил меня Семен Емельянович.

– Не зря в помощники просился. Да и сподручное дело оказалось. Человек-то рабочий, не из каких-то там фырх-пырх, – Анастасия Семеновна повертела в воздухе растопыренными пальцами, словно понянчила невидимого неженку-дитятю, – а из большой семьи...

– Как руки-то? Мозолей много? Восемь часов отмахать – это, брат, без привычки не шутка, – ласково бурчал старик.

После позднего и сытного обеда стало будто еще жарче, и Анастасия Семеновна посоветовала мне передохнуть в избе, там за притворенными ставнями собралась в горнице спасительная прохлада. Не мешало бы соснуть с часок: встали-то в четыре! Но тут я увидел, как, взяв наши рубахи, Светлана зашагала по тропке в лес.

– Ты куда обмундирование наше уносишь? – догнав ее, шутливо спросил я.

– Сполосну их, через час высохнут.

– Я и сам могу... В армии гимнастерки почти всегда сами стирали.

– Там женщин рядом не было, а тут, пожалуйста, к вашим услугам. – Светлана с улыбочкой развела руками.

Когда подошли к речке, она скинула с ног растоптанные кеды, засучила вельветовые брючки и, нежно ойкнув, пошла по щиколотки в воду.

Вода в речке была ключевой живости и прозрачности, с ярко-зелеными на фоне песочного дна, извивающимися, как бы непрерывно машущими вслед течению космами водорослями. Светлана положила рубахи, кусок мыла на торчащую из воды плаху и, оглянувшись на меня, предложила:

– Вон там, за кустом, поглубже, почти до пояса. Можешь искупаться... А я тут постираю.

Она отвернулась и замерла, ожидая, когда я уйду. И я отошел.

Куст ивы раскинулся шагах в двадцати, белесо-зеленые ветви свешивались до самой воды. Дно здесь проглядывалось неясно, терялось в зеленоватой толще чуть замедляющегося

течения, которое там и тут прочеркивали серебристые иглы рыбешек. Я разделся и с травянистого бережка соскользнул в неожиданно теплые, как парное молоко, быстрые струи Боровки.

В такой воде, почти не охлаждающей, а лишь нежно ласкающей тело, можно было купаться до бесконечности. Я плавал, нырял, бегал встречь течению, поднимая фонтаны брызг, с отрадой замечая, что Светлана слышит и видит меня. Она уже кончила стирать и, повесив рубашки на растопыренные сучья старой, валявшейся на берегу коряги, села на бережок, свесив ноги в воду.

– Да искупнись же! – крикнул я. – Водичка – прелесть.

– Сама знаю, но... я без купальника, – конфузясь, сказала она.

– Подумаешь, купальник! Что тебе тут, городской пляж? Перед кем красоваться?

Она посидела еще минуты две, искоса взглядывая в мою сторону, потом встала, резким движением сняла майку, брючки и, оставшись в бледно-голубых, плотно облегающих загорелые бедра трусиках и в простеньком, такого же цвета узком лифчике, крикнула мне стыдливо:

– Ну, отвернись, пожалуйста.

Светлана бросилась в воду, по-девичьи шумно заколотила ногами, взбивая белые брызги, но тут же встала – плыть было некуда.

– Идем сюда, здесь даже мне по грудь! – позвал я, поддаваясь течению, которое сносило, приближало меня к Светлане.

– Мне и тут хорошо, – отмахнулась она и начала подпрыгивать в воде, по-дельфиньи выскакивая из нее с каждым подскоком все выше и выше. Я и сам не заметил, как оказался близко от девушки, метрах в пяти.

– Попробуй этак пошлифуйся! – крикнула она, взлетая и падая шумным водяным столбом.

Я подпрыгнул раз десять и выдохся:

– Фу, тяжелей косьбы!

Светлана прыгала без усталости. Потом остановилась, глубоко и радостно дыша, и только теперь увидела, что я стою рядом. Обеими руками пригладивая растрепавшуюся мокрую косу, выжимая из нее за спиной воду, она попятилась, отступила на мелководье. Голубоватый, вылинявший ситчик лишь кое-где прикрывал великолепную девичью наготу. Светлана встретила этот мой остановившийся, как я сам почувствовал, вмиг сковавший меня взгляд, повернулась ко мне боком и, легонько придерживая ладонями груди, будто загораживая, пряча их, пошла к берегу.

Ломая встречное течение, я шумно двинулся в сторону своего омутка под ивовым кустом. Вышел из воды, сел на теплую траву и закурил, стараясь не глядеть туда, где, шурша прибрежной галькой, одевалась Светлана. Потом там смолкло. Я докурил сигарету и еще минут десять сидел в каком-то знойном оцепенении, ничего не видя и ничего, кажется, не слыша вокруг.

– Андрей, – донесся негромкий, нежно повелевающий голос Светланы, – ты будешь еще купаться или пойдем?

Я посмотрел на девушку. Одетая, она стояла у черной, точно огромный высушенный осьминог, коряги и ощупывала слегка парусящиеся от ветра мужские рубахи.

– Высохли? – спросил я зачем-то и, не дожидаясь ответа, засобирился. – Ну, тогда пойдем.

Мы свернули на тропинку, нырнув в зеленую прохладу бора. Мощные сосны шли вперемежку с кряжистыми, могучими березами. Светлана шлепала ладошкой почти по каждому встречному дереву, будто здороваясь с ним.

Вверху, над лесом, плескались мягкие, глухие, как мне показалось, звуки старинного вальса. Я остановился, прислушиваясь. Где-то играл духовой оркестр.

– Ты слышишь музыку? – спросил я Светлану.

– Это к дедушке небось пионеры-шефы из Челюкина пришли.

Пестрый отряд подростков, сверкающий, будто оружием, медью духовых труб, подковкой оцепил поляну перед избой лесника. Крохотное племя туземцев, которым верховодил седобородый вождь. Когда мы подошли ближе, музыка смолкла, вождь, то бишь Семен Емельянович, повернулся к нам и радостно-извинительно развел руками.

– А я вот загулял... Гости пожаловали, – сказал он мне, словно оправдываясь... – Знакомьтесь, это мои шефы...

К нам подошла остроглазая девушка с круглым сметанно-белым лицом.

– Это Ксюша. Ксения Ивановна, пионервожатая, – представил ее Семен Емельянович, и я пожал маленькую пухлую ладонь, заглянув в улыбающееся лицо девушки. – Она же фельдшерница. Медпунктом заведует. Частенько бегаем друг к дружке на свидания. То я к ней уколоться, то она ко мне – уколоть...

– Андрей, – дослушав старика, кивнул я девушке, которая, судя по морщинкам у глаз и тонко наведенным бровям, показалась ровесницей мне.

Она подала руку и быстро отошла к ребятишкам, выкрикивая на ходу какие-то команды. Их было человек двадцать, но лишь некоторые держали в руках духовые инструменты: две трубы, два кларнета, огромную медную улитку-бас и барабан... Ребятишки живо составили инструменты к стволу старого ширококронного дуба, и сами расселись полукругом здесь же, в тенечке на траве. На дубовом столе, за которым мы отобедали часа три тому назад, торчал из голубого горшочка букет крупных лесных ромашек. Пионервожатая в широком, скрывающем все рельефы быстрого тела, алом платье, точно яркая бабочка, порхала вдоль зеленой поляны, усаживая ребятишек. Семена Емельяновича и Анастасию Семеновну пригласила за стол, а сама притулилась возле них на уголке. Светлана и я разместились под деревом, уразумев, что в предстоящем мероприятии нам отведена роль зрителей. Когда все притихли, Ксения Ивановна поднялась из-за стола и начала рассказывать о шефских делах своего отряда, сыпала цифрами и фактами, называла, сколько сколочено скворечников, сколько огорожено муравейников, сколько гектаров молодых саженцев прополото...

– И если раньше при встречах Семен Емельянович рассказывал вам о лесе, его обитателях, об их защите, то сегодня мы попросим его вспомнить свою боевую молодость. Семен Емельянович – участник двух войн... Впрочем, предоставим ему слово, – с подъемом кончила речь пионервожатая и села, а вместо нее над столом возвысилась глыбистая фигура старика.

По случаю встречи наспех нацепленные неровными рядами медали и ордена, как желто-красные осенние листья, нарядно облепили его грудь. Семен Емельянович был в строгом, хотя и стареньком, черном костюме, который молодил и стеснял его. Широкими своими, тяжелыми ладонями он поглаживал дубовые доски стола, смущаясь от двух десятков нацелившихся на него пар глаз.

– Да ведь как о себе говорить, внучатки? – качнув плечами и глядя перед собой в стол, начал Семен Емельянович. – Человек сам себе первый ласкатель. А кто сам себя хвалит, тот у всех в долгу остается... – Он замолчал, словно ученик, забывший урок.

– Дедушка, расскажи, как тебя ранило, – с места, шепотком подсказала ему Светлана.

– А, да... верно. Вот тут. – Старик поднял левый рукав пиджака, показывая грубый рубец на руке ниже локтя. – Молоденький тогда был я, шустрый – в пулеметчики подошел... А кругом Гражданская война... И вот одна, ввиду нажима казачьей банды Дутова, красногвардейский наш полк отошел от города Оренбурга для своей сохранности в степь. А ночью бой – белая банда кавалерии обошла нас и навалилась атакой... Жутко было ту ночную атаку встречать. В темноте тыщи конников на тебя летят, у каждого сабля и каждый норовит тебя срубить, конем стоптать... И тут я вспомнил, кто у меня слева, кто справа, и заставил своего «максимку» – пулемет – работать безотказно... на благо прав трудящихся и за победу революции... Жаль, не успели мы тот раз водой запастись. Пулемет долго просил у меня воды, пока не сто-

рела краска на коже... Начал я гранаты бросать, тут меня вот сюда пуля ткнула. Но белые бандиты лежали на поле вповал и все убитые...

Семен Емельянович смолк, обтер ладонью вспотевший лоб и улыбочиво-вопросительно, как-то виновато посмотрел на нас, сидящих, будто спрашивая: ну каково, получается речь? Глаза слушателей одобряли.

– А еще было: в переговорах участвовал, – погладив седые космы бороды, продолжил он. – Поручает командир мне и еще такому же красноармейскому хлопцу, как я, сплавать на вражеский берег, к белым казакам. Вот мы, два молодых делегата, и поплыли через Урал. Без ружьев, в дырявой лодке плывем. Один веслами гребет, другой котелком воду из лодки выплескивает. А по спине мурашки. А как же?.. Мы у белых как на ладони. Вот-вот полоснут, и все пули наши будут. Что им наш белый лоскут на палочке?! Жизнь на волоске повисла. Но, слава богу, ни с нашей, красной стороны, ни с белой – ни звука... Доплыли без выстрелов. Смерть у всех в стволах застряла, и вернулись мы с тем хлопцем на свой берег благополучно...

Семен Емельянович сел, заплескались аплодисменты, особенно звонкие возле моего уха, где сидела Светлана. Она наклонилась ко мне и шепнула:

– Про такое дедушка даже мне не рассказывал.

А пионервожатая уже носилась по луговине, позвала меня и Светлану за стол, к старикам. Я оказался на скамейке рядом с Семеном Емельяновичом.

– Ох, давненько столь не говорил. Больше молчком живу, – растроганно сказал он мне, обтирая ладонью красную лысину.

Анастасия Семеновна залезла в карман его пиджака, вынула пакетиком сложенный носовой платок.

– Спасибо! – Старик обрадовано схватил его. – Вот как упарился. Тяжело это... Начни память ворошить, тут вся жизнь к тебе собирается. Чего хорошего вспомнить. А войну-то. Как добры молодцы, в землю полегли? Говорить про то – что камни ворочать...

На поляне затевался концерт. Две девочки спели ласковую песню о березке. Тут же из заднего ряда вышла, будто выплыла русоволосая девочка в белом платице до пят и нараспев прочитала притчу о русской березе – дереве крестьянском:

– ...и все в ней есть: и бабий ситцевый платок, и холщовая рубаха, и курочка-ряба, и молоко. Береза белая, но в ней и черный хлеб, и домотканые штаны с латками, и дедовская седина.

– Ишь ты как! – облизывая сизые губы, Семен Емельянович захлопал отвыкшими от такого занятия большими, землистого цвета ладонями.

Чтеца сменили музыканты. Духовой оркестр, состоящий всего из шести инструментов, смело, хотя и неслаженно заиграл старинный вальс «На сопках Маньчжурии». Он звучал здесь, на лесной поляне, как-то по-особому трогательно, словно звуки рождались не в духовых инструментах, а наплывали из вековых чащоб бора, были дыханием и голосом его.

Дирижерски помахивая веточкой, пионервожатая пятилась, потихоньку отступала от оркестрантов и оказалась возле стола.

– Разрешите? – повернувшись к нам, сидящим, сказала она, глядя мне прямо в глаза.

Я шустро вскочил со скамейки, подхватил Ксению Ивановну за талию, и мы понеслись по поляне, приминая мягкую, скользко-сочную траву. Алыми взмахами заплескался от ветра широкий подол ее платья, пузырем встала дедовская рубаха на моей спине. Откинув голову и полуприкрыв глаза, Ксения Ивановна наслаждалась танцем. Легкую, невесомую, я вел, почти нес ее на руках по кругу, благодарно вспоминая полковой клуб, где солдату с солдатом всегда удобнее было танцевать вальс, а не что-то другое: добрая, нежная, грустная его музыка создавала иллюзорное впечатление, что в твоих руках будто не сослуживец в гимнастерке, а далекая твоя любимая подруга в своем вечернем – зажмурь глаза и вспомни! – самом красивом в мире платье.

– Вы легко танцуете. Приходите со Светой к нам в Челюкино, – сказала Ксения Ивановна, возвращая меня по окончании музыки к столу.

Я сел на скамейку, вытирая рукавом рубахи пот со лба. Семен Емельянович посочувствовал:

– Танцульки вечером хороши, при луне. Бывало, ух!

Старик лихо потряс поднятым кулаком, будто, сидя на облучке, погонял вихрем летящую тройку вороных. Увидев, что юные его шефы выстраиваются в походную колонну, он заспешил к ним – проводить.

– Барабанщик, вперед!.. Отряд, на месте шагом марш! – командовала пионервожатая.

– Вот тоже девка пропадает, – глядя на нас, негромко, со вздохом сказала Анастасия Семеновна.

«А почему „тоже“? Кто-то еще пропадает, кроме этой Ксюши?» – хотелось спросить у нее.

– Да и кого тут в лесу найдешь? Путьевые парни по хорошим дворам разобраны, – пояснила она.

– Находила, да... обожглась, – без сочувствия заметила Светлана, глядя вслед удаляющемуся отряду. – Была замужем, но разошлась. И сюда, в лес, специально направление в училище взяла. Говорит: подольше бы не видеть мужчин! А сама, как погляжу, не против бы...

Маленькие красивые ноздри Светланы напряглись, выдавая ее душевное волнение. Мать участливо заглянула дочери в лицо и улыбнулась:

– Ай, приревновала?

– Кого? – напыжилась Светлана. – Скажешь тоже...

– Ох, Цветочка. Вся ты в батеньку своего, – добродушно, с каким-то милым, желанным укором заговорила Анастасия Семеновна. – Тот тоже, бывало, чуть что, – и уж ноздри раздувает. От ревности прямо-таки безумцем делался... Вот неудобно при вас-то, Андрей Васильевич, говорить такое... Но вспомнить – смех и грех. Кондуктором я одно время устроилась на местном поезде. Через двое суток на третьи. Удобная работенка. Съездила в рейс – и два дня дома... Так он меня, мой Егор-то, царство ему небесное, донял расспросами да подглядками. Втемяшил себе: кондуктора – свободные, путьевые женщины, целый вагон у них всякого народа, мужики – на выбор... И вот до чего дошло. Однажды ночью залез на крышу вагона, веревку к трубе привязал, а другим ее концом себя опоясал да и сполз по крыше, завис напротив кондукторского окна, чтоб поглядеть, чем мы занимаемся. Ну, а чем мы занимаемся... То убираем, чистоту наводим, то людей чаем угощаем, то сами чай пьем. То вяжем, то дремлем по очереди с подружкой. Нет, вы только помыслите себе: поезд мчится, а он, чумовой, на всем ходу летит на своей веревке по ветру, дежурит... Просифонило его, в постель слег. Грудь у него без того слабая, стреляная, а тут такое испытание... Лечу его, выхаживаю, да и поругиваю: где ж тебя летом при такой теплыни угораздило так шибко застудиться?! Тут он мне и давай руки целовать, да и рассказывать, да прощения просить за глупую свою ревность – как три смены подряд в рейсы со мной тайком катался.

– К чему ты все это? – нахохлившись, буркнула Светлана.

– К тому, – с многозначным намеком уведомила Анастасия Семеновна и смолкла, опустив голову, разглаживая морщинистыми пальцами подол своего старенького платья. – Я пошто отца-то вспомнила? – помолчав, заговорила она уже мягко и весело. – Он хоть и чудил, зато отчаянный, горячий-то какой был. Шутка ли: двести километров на крыше отмахать! Ему лишь бы сердце утешить, у человека душа рвалась, кипела... А нынче, поглядишь, как-то спокойно у вас любовь поживает. Все по полочкам раскладываете. А коль не ставится, то сразу шырх-пырх – и в разные стороны. Каждый только свою прихоть тешит, как бы друг для друга не перестараться, гонорок свой не зашибить... Самолюбцы. Строптивы, но по мелочам, а в главном... – Анастасия Семеновна развела руками. – Вот ты тиликаешь: «Коля, Коля, Коля!». А ведь до твоего Коли всего-то два часа самолетом...

– Хочешь, чтобы я к нему полетела... любовь свою караулить? Подглядывать, навязываться? – Светлана свела в щелки глаза и гордо отвернулась.

– Вот, вот. Я тебе о людской жизни, а ты опять со своей бухгалтерией: кто больше кому должен. А любовь на счета не кинешь. Она – такой ералаш, что, бывало, и понять ничего не поймешь.

– Ну, кто с ералаша начинает, тот потом... сводится да разводится. Надо наперед думать.

– Ладно, поглядим, – неопределенно выразилась Анастасия Семеновна и встала из-за стола. – Пора ужин готовить... А вы, Андрей Васильевич, не обессудьте нас за женский-то базар.

Прихрамывая, она пошла в избу. А я и Светлана молчали на скамейке, с показным вниманием прислушиваясь к доносившимся из лесу детским голосам.

– Хорошая встреча, – сказал я. – Организовать такое здесь, в лесной глуши, не так просто. Молодец.

– Кто? – спросила Светлана, сжав свой маленький гордый рот.

– Ну, эта... пионервожатая Ксюша. Она же еще и фельдшер, и музыкант...

– Ох, ох! На все руки от скуки, – легонько передразнила меня девушка. – Да этих шестерых мальчишек-музыкантов она в пионерлагере только на сегодня выпросила. Напрокат, так сказать. Это вовсе не челюкинские, а городские ребята.

– Ну и что? Главное, интересно проведено мероприятие: музыка, стихи...

– А к дедушке не она, а я их впервые прошлым летом привела... Живет в лесу, при речке и солнце, но бледная, как бумажка... А еще говорит: я от мужчин сюда, как в монастырь, сбежала! Сама же часами перед зеркалом торчит. Зимой в город ездила за свежими помидорами и огурцами. Не для еды. Маски делает... Брови выщипала...

Я засмеялся. Светлана насторожилась, в медоцветных ее глазах сверкнули злые искры.

– Я правду говорю.

– Верю, вижу...

Я не знал, какими словами сказать девушке о ее природной красоте, о тонком золотистом загаре ее слегка заветренного, не ведающего косметики, нежно-мужественного лица, высокой шеи – всего молодого ее тела той поры наивысшей его женской прелести, с которой не может равняться никакая другая красота на земле. И если Светлана нуждалась в одобрении, в похвале, то лишь потому, что не знала себе цены, отчего красота ее становилась еще милее, драгоценнее.

– Вы разные с Ксенией Ивановной... Она, понимаешь, не только встречи, но красоту свою... как бы организывает. Понимаешь, бывает, березка ярко нарисованная. А есть настоящая, не раскрашенная, взаправдашняя. Вот как эта. – Я кивнул на белый ствол дерева, стоящий у стожка сена, близ избы, и, боясь встретиться со взглядом Светланы, заговорил: – И вот ты... в тебе, понимаешь, именно такая живая... теплая красота... Я давно хотел сказать... Но зачем? Ты такая... редкая. Я не видел таких...

Эти слова, сказанные буднично, не спеша, без всякой там любовной дрожи, вдруг взволновали меня, как-то обнажив перед Светланой, сделав уязвимым. Я полез за сигаретой, густо задымил, прикрываясь рыхлыми облачками дыма. Мельком взглянув на гордый профиль девушки, я заметил, так показалось, как от подбородка ко лбу, по всему ее замершему лицу будто прокатилась розовая волна света: то ли это были блики, отраженные от моих наручных часов, то ли отсвет какой-то внутренней ее улыбки. Она не шевелилась, а я курил и с надеждой поглядывал на поворот лесной дороги, откуда вот-вот должен был показаться Семен Емельянович... Онемелые, мы сидели так еще несколько минут.

– Хочешь быть пьян без вина? – вдруг резво, сочным своим голосом предложила Светлана, вскакивая со скамьи и с улыбкой заглядывая мне в лицо.

– Хочу. А как? – Я послушно встал перед ней.

– Идем. – Она взяла меня за руку и мимо избы потащила за собой в березняк.

Мы бежали между деревьями, перепрыгивая через мшистые пни, бежали, казалось, слепо, наугад, куда глаза глядят. Вдруг Светлана, мчавшаяся впереди меня, резко остановилась и присела под толстым чернокорым стволом старой березы.

– Вот! – выпалила она.

Я увидел перед собой большой холм муравейника. Тысячи рыжеватых лесных муравьев суетливо трудились на нем, отчего вся, сложенная из крошечных палочек и хвои куча казалась живой, шевелящейся...

Светлана положила на нее ладонь, и в ту же секунду муравейник словно током прострелило. С пятикратно увеличенной скоростью насекомые забегали, замельтешили, в момент оклеив, осыпав собой Светланину руку.

– Ты чего? Боишься? – кивнула она мне, и я с готовностью сунул руку в кипящую рыже-вато-серую толчею.

– Осторожно, а то развалишь! Это же для них целое стихийное бедствие – наше прикосновение, – сказала Светлана, сняла руку с воинственно бушующей муравьями кучи и, стяхнув их, приставила ладошку к своему носу. – Ах, – напрягая ноздри, сладко вздохнула она.

Я тоже поднес руку ко рту и тут же закашлял, глотнув едко-кислый, уксусный запах.

– Муравьиный спирт. Что, ядрен? – погордилась Светлана, словно лично ею сготовленной крепкой приправой.

Я еще раз положил ладонь на муравьев, через три секунды отдернул ее влажную, резко пахнущую, словно нашатырем протертую, приблизил к носу.

– Аж до слез прошибает... И действительно, голова кружится, – вставая с корточек и чихая, сказал я Светлане.

Она тоже выпрямилась и поднесла обе свои ладони к моему лицу. Острый запах травы, земли, муравьев хлынул мне в ноздри, я полузакрыв глаза, даже покачнулся и, взяв девичьи ладони, прислонил к своим горячим щекам. Лицо Светланы приблизилось и стало словно расплываться перед моими глазами. Я видел лишь ее маленький алый рот, он был так близко ко мне, так нечаянно и неповторимо близко, как никогда больше уже не будет. Какими-то беспмятными, дрожащими руками я отвел от своего лица ее ладони, кинул их себе на плечи, обнял русую головку и прижался губами к невинно, по-галчоночьи приоткрытому на полуслове рту. Когда оторвался от ее лица и открыл глаза, то увидел перед собой тяжело опущенные, чуть подрагивающие густые ее ресницы, помятые и оттого еще более заалевшие губы. И я снова прильнул к ним. Мы замерли – без слов, без мыслей, без сознания... Но вот девушка, будто очнувшись, трепыхнулась, выскользнула из моих рук, отскочила шага на три и, глядя в землю, нервно дыша, вся напряжинилась в готовности отразить всякое новое посягательство на нее, показывая тем самым, что то, что случилось, она допустила лишь нечаянно, лишь оказавшись застигнутой врасплох.

Постояв с минуту так, боком ко мне, в стерегущей меня позе, Светлана резко тряхнула головой, тугая коса ее взлетела и упала на грудь. Она взяла ее за слегка растрепанный конец и, заплетая, прихорашивая, медленно пошла в сторону кордона.

За ужином и весь следующий день мы не разговаривали. Эта наша упорная игра в молчанку обеспокоила Анастасию Семеновну.

– Ай и вправду заревновали друг дружку? – начала она тихонько допытываться и будто высмеивать нас. После позднего обеда Светлана и я сидели в тени, под дубом, подперев дерево спинами с противоположных сторон. – Аль разругались?

– С чего бы? – небрежно качнула плечиками Светлана.

– Вот и я говорю: чегой-то вам затылками друг на друга глядеть?... – подсаживаясь к нам, сказала, Анастасия Семеновна. – У нас же сенокос, одной артелью надо бы держаться... Аль устали? Так я же говорила, что устанете. Но ведь молодцы: кончили дело-то, спасибо...

- Все в порядке, Анастасия Семеновна. – Я с улыбкой повернулся к женщине.
- Ничего мы не устали, – буркнула Светлана, не глядя на мать.

Над поляной в высоком небе сонно кружил коршун, и девушка с тупой, сонливой сосредоточенностью, похожей на оцепенение, сопровождала его глазами. Конечно, Светлана очень устала, устал и я, два дня подряд махая без привычки тяжелой литовкой. Но об этом не думалось, никакой усталости не замечалось. Мы будто нечаянно, ненароком хлебнули сладкой отравы и теперь, затаясь, ждали, что будет с нами дальше. Я не знал, как теперь вести себя со Светланой. Сделать вид, что мы не были у муравейника, и притворством разорить наши добрые, дружеские, почти родственные отношения? Или продолжать радостное, запретное?..

Со стороны избы ко мне подошел Семен Емельянович с холщовой сумкой-аптечкой, присел напротив, вынимая из нее бинты, пузырьки.

– Давай, ополченец, перевяжу, – с укоризной и вместе с тем извинительно забасил он. – Утром бы показал... Может, и не дали бы мозолям полопаться.

Я протянул ему правую руку, красная ладонь в двух местах была поранена, протерта до мяса.

– Ой-ей-ей, – сопереживая, застрадала Анастасия Семеновна. – Йодом ее, как бы нарывать не стала.

– Медком, прополисом вот смажем, получше вашего йода. – Старик плеснул из бутылочки на бинт желтоватой жидкости. – А завтра подорожник или лопушок приложи...

Резкая боль охватила руку, я поморщился, закричал. В тот же момент к нам подскочила Светлана, желая и не зная, чем помочь мне.

– На-ка возьми. У тебя руки пошустрей моих, – передавая ей бинт, сказал Семен Емельянович.

Вскоре мы тронулись в путь и в сумерках благополучно добрались до поселка. Анастасия Семеновна погнала лошадь к хозяину, а Светлана села доить корову, которая, соскучившись, трубным мычанием встретила нас еще у ворот.

Я сполоснул лицо теплой водой из умывальника и, засыпая на ходу, вошел в душноватую темноту своей каморки. Сбросив ботинки, я упал на одеяло и тотчас уснул.

Несколько часов я просидел за своими бумагами и теперь вышел поразмяться, побегать с лейкой вдоль грядок. Сняв туфли, Светлана взялась мне помогать.

– Мы с Тосей в кино на девять тридцать идем, – обронила она.

Я промолчал, шлепая по мокрой земле босиком.

– Говорят, приключенческий фильм. Про басмачей, – немного погодя сказала она погромче, но я опять никак не отозвался, не поддержал разговора. – Ты хоть был в нашем клубе-то? – с укоризной спросила она, остановившись передо мною.

– Нет, а надо бы, – неопределенно ответил я.

– Ну... вот можешь... заодно с нами, – сбивчиво, подрагивающим голосом пригласила она и шагнула к колодцу.

Под вечер я побрился, надел новую сорочку, выпил парного молока, которое мне ежедневно по тридцать пять копеек за литр доставляла Анастасия Семеновна, вышел к воротам и сел на скамейку. Вскоре из калитки вышла Светлана, обеспокоено завертела головой:

– Тося не подходила?.. Мы ж опаздываем!

– Тогда идем? Дорогу-то в клуб знаем, – несмело предложил я.

– Нет, нет, она придет.

Светлана присела рядом на скамейку, нетерпеливо обмахивая косынкой зардевшееся лицо. В кипенно-белой, с вышивками на груди, белорусской блузочке, в черной удлиненной юбке и белых, на острых каблучках туфлях она была такой празднично красивой, что замусоренная опилками и клочьями сена пыльная улица, дома, замохovelые тесовые крыши,

подзаборный, дровяной хлам показались серыми, поблекшими, усталыми. В своей новой, но по цвету невзрачной темной сорочке я тоже потерялся при строгом, но ярком наряде Светланы.

– Она возле магазина небось на углу ждет. Идем, ведь до начала сеанса десять минут, – взглянув на свои часики, заторопилась она, вскакивая со скамейки.

– Тили-тили-тесто, жених и невеста! Тили-тили-тесто, жених и невеста! – наперебой дразняще прокричали нам мальчишки и нырнули в проулок.

Возле одной избы на отесанном бревне сидела грузная, толстощекая женщина. Еще издали она положила на меня тяжелый, пристальный взгляд.

– Здравствуйте, Евдокия Петровна! – звонко поприветствовала ее Светлана. Та лишь кивнула, не снимая с меня своих тяжелых глаз. – Это Колина мать, – тихо сказала Светлана и до самого клуба шла молча.

– Идемте, уже началось! Вот билеты, – с веселым упреком встретила нас в фойе высокая, как баскетболистка, с прямыми плечами и короткой мальчишеской стрижкой Тося.

Мы прошли в зал, впотьмах отыскивали свои места, сели на скрипучие стулья и учтиво замерли, как бы извиняясь перед невидимыми соседями за свое опоздание. Я без интереса, подневольно глазел на экран, где молоденькие милиционеры преследовали матерого бандита-басмача, устраивали ему ловушки и засады. Они, наконец, схватили его и обещанием сохранить ему жизнь вынудили работать на себя. Бандит тайной тропой ведет милиционеров в горы, где скрывалась вся банда. Фильм завершился ее уничтожением.

– Ох, – облегченно вздохнула Светлана, когда мы, сидящие почти рядом с дверью, вышли из клуба на свежий воздух.

– Ну и как? – не поняв этот ее душевный жест, спросила Тося, обращаясь больше ко мне.

– Как в кино, – ответил я скучно и добавил: – Как в плохом кино.

– А мне понравилось, – возразила Тося. – Этот, с арканом... прямо со скалы прыгнул на коня – точно в седло. Надо же!.. Ловкие все, смелые ребята, дерутся здорово.

– Да фильм, конечно... для подростков. Что ты от него хочешь? – проводив взглядом подругу, сказала Светлана. – Смотреть можно, но жаль, время потеряли.

Дальше она шла молчаливая, сникшая, будто стыдясь того, что по ночной улице мы идем рядом, обгоняемые не знакомыми мне, но хорошо известными ей сельчанами.

– Да я тоже не могу, когда под лихой фокстрот убивают людей, если они даже белогвардейцы или бандиты. Ведь вот смотрим: ночной налет, бой, схватка, выстрелы. Но для чего к этому шуму на экране еще и оркестр подключать? Ведь в жизни небось тот бой шел без музыки, – вспоминая фильм, заговорила Светлана. – А мы с Колей... обычно не обсуждали картины. Спросишь его: ну, как фильм? Ответит: ништяк, то есть ничего, значит... Семечки любил во время сеанса ногтями лущить. Да и не только он. Дурацкая привычка у наших тут – с семечками в клуб ходить... Ты, небось, часто бываешь в театре и кино там у себя в городе? – помолчав, с почтительной завистью спросила она.

– Редко. Особенно в кино. Некогда, да подчас и нечего смотреть.

– А я бы каждый день ходила... Вот последний раз ездила на «Жизель». Из Москвы балет приезжал, за три недели вперед все билеты были распроданы. Мне подружка достала. Ой, какие декорации! Прелесть! Второе действие – вот такая же лунная ночь. На кладбище танцуют девушки-виллисы в белом. Как русалки... Это легенда о невесте, которая умерла, не дожив до свадьбы. Ее жених так сильно любит ее, что ночью приходит к ее могиле и в скорбящем танце показывает, как он одинок без нее. Она выходит к нему, и до зари они танцуют вместе... Не смотрел?

– Когда же мне ходить? Вечерами то в библиотеку бежишь, то в институт.

– Это предание о любви. Коль они поклялись любить друг друга, то даже после смерти невозможно расстаться...

Мы подошли к дому, сели на скамейку и надолго замолчали. Прежнего разговора, легкого и веселого, как-то не получалось теперь – после поездки в лесничество.

Предупредительно кашлянув, из темноты вышла Анастасия Семеновна и спросила, лишь бы голос подать:

– Не спите?

– Тебя поджидаем, мам, – ответила Светлана.

– А то уж... – не поверила ей мать и, помолчав, с улыбкой сказала: – Ну, ладно, сидите... А я пойду. – Она продолжительно посмотрела на голубоватый слиток луны, вспоминая что-то далекое, свое. У калитки повернулась и добавила из темноты: – Глядите, Андрей Васильевич, миленький... Цветочка у меня теперь – разъединственная радость.

Что-то мучительно-неразрешимое легло мне на душу. Когда Анастасия Семеновна ушла, я сказал:

– Мне, наверное, лучше уехать.

– Зачем? – грустно-удивленно шепнула Светлана. – Так скоро...

– Просто... понимаешь, я... Я боюсь полюбить тебя.

– А что тут страшного?.. Мне гораздо страшнее. Вот пришли мы в клуб, а там сплетники зашушукались обо мне. С одним парнем, дескать, переписывается, а с другим в кино ходит.

– Вот и нужно... от сплетен тебя огородить.

– Не знаю, – помолчав, сказала Светлана. – Только с тобой я не чувствую себя плохой, в чем-то виноватой... Колю я ждать посулила и дождусь. Но... у меня, понимаешь, ничего такого... такого сумасшедшего, как у нас вчера в лесу... такого у меня никогда к нему не появлялось...

– Светлана...

– Что, Андрей? – тихо и тепло отозвалась она.

– Да ничего... Просто имя у тебя светлое, мягкое, как твои волосы... Светлана... Светляна, Лен... Ляна, – шептал я, поглаживая ее шелковистые волосы.

– У тебя тоже хорошее имя, Андрей... А мама и бабушка сказали, что ты простой и трудолюбивый.

Темное на фоне белой блузки лицо Светланы было таинственным.

В тот вечер я опять не сдержался и поцеловал ее, а когда попробовал объясниться, она приложила к моим губам свою ладонь. Да, какие бы слова я ни говорил, они не смогли бы оправдать нас, лишь огласили бы несправедные, как мне тогда казалось, наши действия. И Светлана будто упрасивала меня молчать, и сама молчала, в поцелуях ответно никак не проявляя себя. Но однажды после горячего объятия она отшатнулась от меня. Глубоко и тревожно дыша, и, захлебываясь от волнения и торопливости, зашептала:

– Господи, да что это мы делаем?! Никогда у меня такого не было...

– И у меня...

Надо было, однако, опомниться, пересилить себя, унять, наконец, уехать из Сосновки. Или высказать все напрямик, высказать Светлане, Анастасии Семеновне, Семену Емельяновичу. Пусть знают...

Раза два по утрам ездил на велосипеде в лес – копнить сено.

В дневные часы рылся потихоньку в своих конспектах, думая совсем о другом, – о вечере. Мы шли в Светланин цветник и садились там, на скамеечку, заслоненную от неба и от улицы живым пологом лопушистых вьюнцов. Стоило Анастасии Семеновне выйти на веранду и окликнуть темноту, как Светлана быстро и весело отзывалась: «Здесь я, мам! Тут мы»... После чего Анастасия Семеновна спокойно шла почивать, доверяя нам друг друга, веря нам. Случалось, мои руки делались непослушными, Светлана тут же отстраняла их, вставляла со скамейки и, выйдя из цветника на лунный свет, озабоченно смотрела на свои наручные часики.

Иногда мы подходили к колодцу, вытаскивали за веревку опущенный в холодную воду бидон с молоком и пили из него по очереди. У изгороди, точно клочок звездного неба, пестрела черная, в белых кляксах корова. Ее вид и шумное, теплое дыхание сулили молочное изобилие. Очень земное это ощущение – пить молоко коровы, что стоит перед тобой.

– Скоро ты уедешь... – увильнув от поцелуя, однажды грустно, как-то отрезвело-задумчиво сказала Светлана.

– Я напишу тебе, буду писать... А ты ответишь?

– Да... то есть как? Писать сразу двоим? – Светлана посмотрела мне в глаза. – Кто ж так делает?! Да и есть там... без меня в городе девчат полно...

Она ревновала меня, а я ее. Я досадовал, что она успела зачем-то обзавестись Колей.

А она ревновала меня к городу, где, как ей мерещилось, у меня десятки друзей и подруг. И я горячо бросился как-то рассказывать ей о неуютном своем городском житье-бытье, о том, как тяжело и одиноко бывает в многолюдном городе, особенно весной, особенно в какой-нибудь субботний апрельский вечер.

Остро и свежо пахнет талой землей, сырым деревом, печным теплом нагретых за день кирпичных домов. Вечерняя прохлада уже не переходит в морозец, не стеклит лужицы, как на деревенской улице, а только сгущает, подсиняет воздух, насыщая его жадной встреч любви, какой-то вокзально-острой грустью. Торопятся такси, снуют парочки – все спешат и, конечно, знают куда. И в этом движении людей и машин видится тайный сговор скорее разойтись, разъехаться по заветным местам, оставить улицы пустыми. И как плохо в такой вечер тому, кто не спешит, не знает, куда и к кому спешить, кто со стороны чутко наблюдает, как проносятся мимо тысячи чужих радостей.

Стоишь и смотришь на прохожих, на кокетливых в своей весенней раскованности девушек, на ласково-задумчивых, отдыхающим шагом идущих женщин. И коришь себя, почему нет среди них единственной, друга. Какая-то мирная ревность охватывает тебя. И такое ощущаешь даже в те минуты, когда рядом хорошенькая сокурсница. Испытываешь легкое, приятное чувство, какое бывает, когда идешь по людной улице в удобном красивом костюме, с букетом свежих цветов. Но хочется еще что-то чувствовать, хочется искать и разгадывать в ней, празднично-веселой и умиленной, что-то будничное, надежное, ясное, принадлежащее только ей и так нужное тебе. Ищешь и не находишь. А после, случайно встретив ее с другим, переживаешь и боль утраты, и одновременно какую-то смутную радость за нее: вот и нашелся ей ровня по вкусам и духу!

Но тут же почему-то завидуешь ей, ненавидя в себе то, что делает тебя одиноким, а значит, независимым, свободным. Потом вновь гордишься этим и ни о чем не жалеешь: что случилось – к лучшему.

– Как же так – завидуешь, а сам гордишься? Чем? Одиночеством своим? – не поняла Светлана.

– Свободой... Тем, что не какой-нибудь, а взаправдашней любви хочется.

Рванулось из души: «Давай увезу тебя в город, устрою на работу, учиться будешь?! Пока в общежитии поживем, потом квартиру дадут».

Но я молчал. Мне по-мужски было неловко, совестно перед Колей, а также перед самим собой – тем далеким солдатиком, который в такие же лунные ночи, лежа под суконным одеялом казарменной постели, мечтательно глядел в окна на звезды и с нежностью думал о той единственной, свято веря, что и она думает о нем. И каким чудовищным ударом явилась для него весть, что он обманут! Как долго носил он в себе рану, как медленно заживлял, оздоравливал свою будто выеденную душу. Как гнусен и не прощаемо подл виделся ему тот парень, который, пользуясь его отсутствием, сманил девушку.

«Да, как ни были горячи мои письма, руки Бориса Горяйнова для моей Лидушки оказались горячее, ближе». И вот теперь я делал то, что сам с гневом осуждал когда-то...

Иногда же думалось: а не усложняю ли я все? Может, Светлане вовсе ничего от меня и не нужно, может, ей по нраву то, что происходит с нами? Отваживаются же девушки на такую жертвенную нежность.

По утрам перед уходом на работу она заскакивала на полминутки в мой домишко и то ставила на подоконник букетик ромашек, то совала мне махонький, в пупырышках («самый первый-первый!»), утренне-веселый огурчик, принесенный прямо с грядки, то кружку парного молока, то просто забегала, кажется, лишь затем, чтобы я взглянул на нее.

Однажды, сидя с книгой в Светланином цветнике, я услышал за забором глуховатый женский говор.

– Нет, Петровна, суди меня не суди, но окорачивать ее я не стану. Двадцатый год девке. Сама пусть глядит, понимает... – раздумчиво-мирно рассуждала Анастасия Семеновна.

– Городской-то ваш седни тут, а завтра его нету, – вразумляла ее сердито женщина, видно, соседка. – А Коля у нее завсегда под рукой, на всю жизнь рядом. Да и уговорить промеж них был – друг дружку обождать...

– Эх, Петровна... Да какую управу на любовь-то найти можно, каким уговором-договором ее зауздать? Она ведь налетит что туча с молниями...

– Вот-вот. Молнии-то отсверкают, а жизнь своим чередом опять пойдет. Вот ты по-матерински Светочке и подскажи: блюди себя, коль солдата ждать взялась.

– Солдата она, конечно, должна ждать, а... замуж выходить надобно за любимого человека.

– А неужто Коля ей не люб?

– Кто ж про то знает?... Ну, ходили они рядком в школу, на речку... паслись вон как наши соседские телята на лужайке. А что меж ними, как? Этого нам никто не скажет... Цветочка грамотная, смышленная... И пускай дальше в жизнь проклевывается, едет, учится. Удерживать не стану. В нашей пекарне-то какой для нее путь, какое развитие?

– Ты, соседка, погляжу, уж и благословить ее готова... А нехорошо это. И пусть тот... ваш городской-то на чужое не зарится, из горла у другого кусок-то не выхватывает, – подавится.

– Нельзя этак, Петровна, нельзя... куском-то дочку мою считать. Она – человек сама себе вольный и как пожелает, так и... дай бог ей счастья...

В субботу Анастасия Семеновна затеяла истопить баньку. Я колол на чурбаке березовые поленца, Светлана, резво семеня босыми загорелыми ногами, носилась туда-сюда с ведрами, таская из колодца воду в большой чугунный котел. Тут с улицы, приоткрыв калитку, заглянула во двор уже примеченная мною за эти три недели женщина-почтальон и с улыбкой дразняще-маняще помахала над головой белым конвертом. Светлана отбросила ведра, рванулась к воротам, выхватила из ее рук письмо и, притворив спиной калитку, нетерпеливо вскрыла его. По ее лицу пробежала зябкая какая-то, точно дрожь, улыбка и застыла на твердо сомкнутых губах.

– Он? – вопросительно кивнула Анастасия Семеновна.

– Да, – подходя, ответила Светлана.

– Что пишет-то?

– Как всегда: жив, здоров, скучаю... И фотокарточка. Вот, смотрите!

Анастасия Семеновна и я осторожно, кончиками пальцев взяли за уголки карточки. Это был опять любительский снимок, излишне зачерненный, передержанный. Может, поэтому мягкие белобрысые черты Колиного лица, масляно блестящего, будто отлитого из чугуна, были резко и строго очерчены. Солдат сурово, тяжело, утомленно смотрел из-под черноты надвинутых бровей. Смотрел он, кажется, только на меня.

Светлана взяла из наших рук карточку, всунула в конверт и положила в карман халатика. А во мне вдруг вскинулась волна смутной ревности к Коле и одновременно острой и горячей

солидарности с ним, что-то горькое, болевое и святое объединяло, роднило сейчас меня и его. Я протянул к Светлане руку.

– Дай-ка еще погляжу... Где он, говоришь, служит? – спросил я, принимая карточку.

– Писал недавно: купаемся в реке Араксе. Это в Азербайджане где-то. А что?

– Ничего, – взглянув на погоны солдата, ответил я. – Погранвойска.

Я сел на чурбан, облокотившись на обух вонзенного в плаху топора, и закурил. Светлана, хмыкнув, отошла. Я держал в руке карточку, но не смотрел на нее. Перед глазами зыбились притуманенные мгlistой пеленой зноя, безлесые, цвета цемента, угрюмые иранские нагорья. Я служил в соседней пограничной зоне, где почти семь месяцев в году держится такая же, как и на Араксе, сорокаградусная жарынь. Вид зачернелого, словно прокопченного, лица на карточке лишь освежил мою память. Я снова видел границу, каменный с ослепительно белыми стенами уютный домик нашей заставы, лица ребят, среди которых мелькнуло будто Колино, черное, утомленное. Я снова стоял в шеренге караульного взвода, заступающего в наряд, и в диске моего будничного на вид автомата притаились боевые патроны. Торжественный холодок пробегаает в груди всякий раз, когда посчетно, поштучно получаешь ты боезаряд и становишься на стыке территорий двух государств. Позади тебя живое пространство Родины...

Зорко вглядываешься в темную тишину, оберегая ее и не доверяясь ей. Ведь сам ты ничем не защищен, не прикрыт, каждый твой шаг, мысль, взгляд в любой момент могут стать последними. Бесшумный полет кинжала из темноты, далекая и такая же бесшумная снайперская пуля... Строгим стерегущим лицом ты стоишь к чужеземцам, а спиной – к своим, родным, любимым и любящим.

И тебе даже помыслить, вообразить невдомек, что разящий удар ты можешь получить со спины... Да, не только оружие врага иногда выводит солдата из строя. Уж я-то знаю, на собственной шкуре испытал!

– Ты не сжечь ли ее собрался? – спросила Светлана, подойдя ко мне через некоторое время.

Я еще раз внимательно взглянул на фотокарточку. На больших, металлически жестких и сухих, точно спекшихся от зноя губах юноши застыла какая-то тяжелая и суровая мольба. Я легонько кивнул Коле и отдал карточку. Светлана сунула ее в карман халатика и, спросив, когда будут готовы дрова, отошла к колодцу.

Я взял топор и стал рубить березовые, сучкастые поленья, вкладывая в каждый удар смутную, какую-то мстительную ярость.

Воскресным утром я попросил у Светланы старенький ее велосипед – прокатнуться и тайком махнул на кордон. У Семена Емельяновича было много приезжих – лесоводы с опытно-производственного участка, снабженцы районной мебельной фабрики...

– Думал, что сегодня вы отдыхаете. Хотел сено постоговать, – сказал я ему.

Старик, кивнув на деловых гостей, немо развел руками. Потом вынес вилы и попросил:

– Коль есть желание, иди стогуй. Большие не ставь, все равно к зиме в Сосновку свезем...

Горбыльками обложи, чтобы ветер не трепал. Да я, может, скоро освобожусь, подсоблю.

Сено в копешках хорошо проявилось, было сухим, ванильно-душистым. Я пружинисто вонзал в него вилы и, крикнув, взметывал навильник-шапку над собой. Оголившись до пояса, ходил от копешки к копешке, стаскивая их в стожок. Зеленая пыльца и разноцветные, точно высохшие бабочки, травяные лепестки облепляли мокрые от пота плечи, грудь, спину, щекотно набивались в ноздри, в уши и волосы. Дрожали колени, опасно-приятно что-то хрустело в пояснице, когда поддев вилами тяжелую копешку, я нес ее и укладывал на стог, наращивая и отлого верша его. Во мне бурлило желание делать что-то для Светланы, для ее дома, для ее матери, оплачивая этими делами растущий во мне с каждым днем какой-то не тягостный, а ободряющий, укрепляющий меня долг перед ними. Они словно ждали от меня, молчаливо и застен-

чиво, какого-то ясного, мужского слова, а я все готовился, решался, но никак не мог его произнести.

Часа три понадобилось мне, чтобы из полусотни разбросанных по луговине копешек сотворить два солидных стожка и обложить их тяжелыми горбылями. Важно стояли они посреди опушки и обещали Звездочке, щедрой кормилице Черниковых, сытое зимовье.

– Завтра уезжаю, – сказал я Семену Емельяновичу, когда он поливал из чайника водой мою потную, оклеенную сеной трухой, горячую спину.

– Чтой-то скоро... Адь не понравилось? – душевно посожалел он.

– Ну что вы! Я так прекрасно отдохнул, что когда-нибудь еще приеду.

– Верно, верно. Обязательно приезжайте. Можете у меня прямо тут на кордоне жить... Погоди-ка... – Старик пошел в избу, оглядывая по пути двор, будто что-то отыскивая. Вернулся с какой-то безделицей в руках. – Вот... ерундовинка такая... На память и легкую вам дорогу, – заговорил он, отчего-то переходя на «вы», и подал мне небольшую, величиной с ладонь резную штуковину, похожую на деревянную медаль. В центре ее барельефом выступала красивая фигурка голубки-горлицы.

– Сами делали?

– Забавляюсь... Особливо зимой, часок-другой вольный бывает, вот и стругаешь ножиком. Много их у меня было всяких... Ребятишки растащили. – Семен Емельянович будто оправдывался, что при своей строгой службе транжирится на такие пустяковые занятия. – Ежли лачком по ней пройти, то не знать ей износу.

– Тонкая работа. Спасибо, Семен Емельянович. – Я взял из его рук деревянный талисман и, сняв с велосипедного руля ФЭД, обрадованно предложил: – Давайте сфотографирую вас.

Старик послушно, как ребенок, опустил руки по швам и замер там, где стоял. Я взял его за локоть, подвел с теневой стороны к дубу и сделал несколько снимков.

– Пришлю, – сказал я, прощаясь.

– Заодно уж... пропишите, как с мостком-то у вас там обернется, – напомнил Семен Емельянович и, глядя мне вслед, недвижно стоял на дороге до тех пор, пока я, поднажав на педали, не скрылся за поворотом.

И я, зная, как она скупа на них, как прямодушно-колюча, вполне мог поверить, что вид у меня действительно бодрый, три недели в лесу не прошли зря. Душа же ныла, томилась ожиданием чего-то, рвалась во вчерашний день. Было ощущение, словно в город я приехал на пока, за какими-то неотложными гостинцами для Светланы и ее деда и, приобретя их, тотчас уеду, вернусь на лесной полустанок, где что-то я недоделал, недосказал...

В тот вечер Людмила Сячина пришла ко мне прямо в комнату общежития.

– Бессовестный, уже целую неделю как приехал и не показывается! Как так можно? – с блестящими от веселой досады, яркими глазами, с шумным отчаянием накинулась она на меня.

Я лишь развел руками над столом, заваленным бумагами, и устало плюхнулся на диван.

– Ужинал? – спросила Люсик, подсаживаясь ко мне.

– Нет еще...

– Я так и знала. А ведь уже девятый час. Пойдем в кафе. Проветришься, закусим... отвлечешься.

Мы вышли из общежития.

– А ты поправился, гляжу, даже потолстел слегка, – взяв меня под руку, без зависти заметила Люсик.

– Парное молоко пил вволю... Как вы, что ли, тут: бутерброд, кофе, сигарета...

– А ты? Ты-то разве не тут?

Я искоса взглянул на ее лицо: сквозь млечную матовость кожи просвечивали жилки на скулах, щеки были слегка намажены... На зеленый бережок Боровки бы ее, прополоскать в прозрачной водице, прокалить бы лесным солнцем...

Помещение кафе – продолговатый, с низким потолком и кафельным полом зал – разделяла пополам невысокая декоративно-ажурная стенка. За ней, в правом углу, располагался бар, вся задняя подковообразная буфетная стенка его была ярусами уставлена разноформатными пустыми бутылками с этикетками иностранных винодельческих фирм. На стенах бара, покрашенных в тяжелый, какой-то красно-сиреневый цвет, тут и там были наклеены округлые, похожие на бумажные иллюминаторы плакаты – увеличенные кадры из зарубежных ковбойских фильмов: яркие красавицы-амазонки и томные красотки, полуобнаженные, показывающие, как близко и доступно их небрежно прикрытое полупрозрачной вуалью, будто всегда желающее оставаться нагим, многообещающее тело; здесь же схватки сильных мужчин – стреляющих, скачущих на лошадях, обнимающих, целующих... Будто все эти обаятельные чужестранцы, выпив все бутылки и оставив их стоять на буфетной стенке, ринулись в зал и давали теперь какой-то фарсовый концерт тем, кто сидел за круглыми столиками бара и глазел на них, на то, как лихо можно жить...

Впрочем, рассмотреть хорошенько настенных киногероев, ослепительных красавиц мешала красная, нарочито созданная дымная мгла, озаряемая пульсирующими вспышками светомузыки. Если бы раззанавесить окна бара, то лучи закатного солнца мягко осветили бы зал и людей. Но окна были наглухо задрапированы, очевидно, для создания интимного уюта и доверия. Для интимного уюта, правда, нужна еще и определенная тишина, чтобы наслаждаться шепотом любимого, любимой. Под низким потолком бара неистовствовали же, подавляя все другие звуки и голоса и без прерыва сменяя друг друга, но не меняя однообразной своей ритмичности, танцевальные мелодии, где ведущим инструментом был барабан. Басы, с хрипотцой мужские и оголтело-страстные женские иноязычные голоса неслись будто не из динамиков, а из наклеенных бумажных иллюминаторов, как звуки порочно-роскошной жизни выглядывающих оттуда красавиц.

– Шикованно, правда? Всего неделю как открыт после ремонта. До восьми вечера тут кафе, а после – бар-ресторан! – перегнувшись через стол, крикнула Люсик, видя, с каким интересом я оглядываю сверкающее, дымящееся, прыгающее нутро бара.

– Так, так, – сказал я, с некоторой робостью адаптируясь в неузнаваемом зале. – Ну, с чего начнем?

– Начнем с того, что мы трезвые, – хохотнув, предложила Люсик. – Что будем пить, есть?

– Да тут и без вина можно охмелеть – от дыма, – сморщившись, забормотал я.

– О, как ты избаловался на лоне природы! Ничего, привыкнешь, обтерпишься... Для того сюда и приходят, чтобы отключиться, побалдеть.

Люсик взяла из моих рук червонец и, виляя между столиками, пошла к буфету, где, облитые снизу густым, свекольно-красным светом, два холеных бородатых молодца творили коктейли и музыку.

Перемогая музыку, сидящие и танцующие возбужденно разговаривали и курили. Курили все без исключения, словно курение было основным условием присутствия человека в баре, участия его в какой-то негласной, но обязательной для всех здесь игре. Курили бесцельно, вроде бы без надобности, но жадно, картинно-взволнованно.

Люсик, поставив передо мной два стакана коктейля, достала из сумочки пачку сигарет и спешно-нервно закурила, услажденно откинувшись в креслице.

– Какой-то заторможенный ты сегодня, – пососав через соломинку напиток, выговаривала она мне.

Вынув из своего стакана соломинку, я несколькими глотками выпил холодный, вмиг освеживший меня напиток и потянулся за сигаретой, Люсик чиркнула зажигалкой, поднесла к моим губам огонек. Красивые, бесстрашно распахнутые глаза ее приблизились.

– Ну что бы ты желал сейчас? – с многозначительным намеком во взгляде и голосе спросила она, кладя свою ладонь на сжатый мой кулак.

– Я?.. Я бы попросил уменьшить громкость той шарманки. Я же пришел сюда не только танцевать, но и отдохнуть, побеседовать... и ради сохранения голосовых связок готов уплатить тому... бородатому. Я очень прошу, Люсик. Сходи. Он девушку лучше послушает. Попроси его приглушить музыку или сделать маленький антракт.

– Человек платит, заказывая музыку, а ты...

– То было прежде, в старые добрые времена.

– Ох, ненормальный! – шикнула на меня Люсик, но тут же улыбнулась и как на подносе понесла эту сотворенную улыбку к буфету...

Музыка прекратилась, внезапная тишина разом выявила застольный гомон, который стал мало-помалу смолкать. Потекли минуты относительного затишья, отрезвления; молодые люди отрывались от пепельниц и рюмок, ознакомительно взглядывали друг на друга издали, словно неостановно низвергающиеся под вспышки цветных молний танцевальные мелодии не только оглушали, но и ослепляли их. Но уже минут через семь-десять какой-то вихрастый юноша нетерпеливо выкрикнул:

– Музыку! Эй, там... Музыку!

Тишина, обернувшаяся временным уютом, неспешным разговором за столиками, была в тот же миг прервана.

– Ну вот... как же тут приглушить музыку, если люди хотят танцевать?! – с веселой беспомощностью развела руками Люсик. – Да и заплатили же мы за нее при входе. Пусть играет... Кстати, пошли станцуем?

– Рановато. Посижу малость.

– Ладно, я одна схожу. – Люсик ввинтила в пепельницу дымящуюся сигарету и отошла.

Юноши и девушки табунком топтались на одном месте, будто растирали на скользком полу окурки. Некоторые, делая эти однообразные, простенькие движения, легонько подскакивали, подсекая то одну, то другую ногу – так в мороз греется на автобусной остановке прохожий, ожидая припозднившийся транспорт. Движения были произвольны, случайны, заучивать их не требовалось, они были из тех первобытных наипростейших, двигательных актов, какие человек выполняет безотчетно-естественно, почти механически; они живут, закреплены в нем как рефлекторное умение шагать, моргать, чесаться, жевать... То есть суть и цель исполняемого танца как раз и заключались в том, чтобы ничего не исполнять, быть свободным и независимым от каких-либо самых элементарных условий самого незатейливого танца, который всегда что-то рассказывает и показывает. Даже танцы дикарей у костра полны ритуального смысла и содержания, они и страшны, и красивы, и грозны, и нежны – в них то ли радость, то ли человеческая печаль, то ли гнев, то ли счастье и надежда...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.